

речной ГОЛОД

синхронизация



создай. заплати. исчезни.

ИГОРЬ УСИКОВ

Игорь Усиков

Речной голод. Синхронизация

«Автор»

2025

Усиков И. А.

Речной голод. Синхронизация / И. А. Усиков — «Автор», 2025

Пыль. И древний Дон, в водах которого дремлет ненасытный дух, дарующий вдохновение и забирающий души. Лео — уличный художник, разрывающийся между мечтой о признании и суровой реальностью. Его мурал на стенах старых Парамоновских складов привлекает внимание таинственной незнакомки. Маргарита Ветрова предлагает ему контракт с престижной галереей «Темные сердца». Все, что от него требуется, — это творить. Но ее дар — это сладкий яд, а источник вдохновения — древний голод самого Дона. Лео втягивается в водоворот мистических событий: картины оживают, в глазу пульсирует черная точка, а из прошлого всплывает старая семейная легенда о Водяном. Он узнает, что его мать была одной из жертв реки, а теперь очередь за ним. Вместе с новым союзником, Кирой, такой же отмеченной голодом, Лео пытается противостоять судьбе. Но чтобы победить древнюю силу, им придется пройти по тонкому льду между безумием и гениальностью, где искусство становится оружием, а цена за бессмертие в веках — собственная душа.

© Усиков И. А., 2025

© Автор, 2025

Содержание

Глава 1: Первый Зов Дона: Метка на стене	6
Глава 2: Тени за обеденным столом	14
Глава 3: Интеграция в новую среду	21
Глава 4: Иловые Сны: Рождение Парной Души	28
Глава 5: Метроном Судьбы: Живые Холсты	36
Глава 6: Лабиринт Памяти: Дневник и Часы	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Игорь Усиков

Речной голод. Синхронизация

Река не зовёт – она шепчет.

Сначала тихо, будто дышит тебе в ухо.

Потом громче, пока её голос не станет твоим.

Она любит тех, кто слушает.

Она кормится памятью, пока не перепутаешь – где твои мысли, а где её.

И когда ночью поднимется туман,

и вода коснётся берега, —

не смотри вниз.

Там всегда кто-то смотрит вверх.

Глава 1: Первый Зов Дона: Метка на стене

Солнце Ростова-на-Дону палило немилосердно, будто разгневанный божественный кузнец высыпал на город весь свой запас раскаленных углей. Воздух над набережной дрожал, струился маревами, стирая границы между асфальтом, водой и небом в единое, зыбкое полотно. Пыль, поднятая редкими прохожими, медленно оседала на гранит парапетов и вековые стены Пармоновских складов, на которых Лео заканчивал свой мурал.

Он провел ладонью по лбу, смахивая пот, липкий и густой, смешанный с мельчайшими брызгами аэрозольной краски. Запах стоял едкий, химический, но сегодня сквозь него пробивался другой, чуждый аромат – тяжелый, влажный, сладковато-гнилостный, как запах сырой речной глины после долгой засухи, когда дождь наконец-то проливается на потрескавшуюся землю. Или как запах старой крови, впитавшейся в деревянные плахи причала.

Лео замер, кисть с каплей оранжевой краски застыла в сантиметре от шершавой поверхности кирпича. Последний мазок. Тонкая, почти паутинная линия, которая должна была соединить глаз нарисованной им женщины с толпой внизу. Он чувствовал стену под пальцами босой ноги, упертой в перекладину лесов. И ему снова померещилось, что стена дышит. Не метафорически, не как художественный образ. Под его пальцами, если прислушаться, уловить ритм помимо стука собственного сердца, поверх гула города, она пульсировала глухим, мерным теплом. Как кожа огромного спящего животного, притворившегося камнем.

Лео резко сорвал перчатку, провел ладонью по камню и вздрогнул. Камень был тёплый, будто хранил дыхание кого-то живого. Он не стал смотреть по сторонам – просто отступил шаг назад, пытаясь вернуть себе равновесие. Ветер ударил в лицо, и в этом порыве была жизнь.

– Эй, Лео! Ты там не сварился совсем? Выглядишь как мумия после ночи в самом жарком клубе города, – раздался снизу голос, прорезавший воздух, словно прохладный лезвие.

Армен, прислонившись к металлическим опорам лесов, швырнул ему вверх пластиковую бутылку с водой. Его армянский акцент, густой и бархатистый, обволакивал слова, делая их похожими на дым от далекого костра где-то в высокогорных каньонах его исторической родины. – Вчера опять до утра рисовал? Слушай, даже мои бабушкины сказки про духов Сюникского ущелья не высасывают из человека все соки так, как это делает твое «искусство ради признания».

Лео поймал бутылку на лету, почувствовав приятную прохладу пластика. Но пить не стал. Горло сжалось комом. Этот странный запах – запах глины и крови – будто исходил от самой бутылки, от его рук, от стены. Он моргнул, пытаясь избавиться от назойливой пульсации в правом глазу. Маленькая, темная точка, как заноза, засела где-то на краю зрачка и отбивала свой собственный, отдельный ритм. Раз. Два. Три. Сердце подхватило этот такт, застучало в унисон, глухо и тревожно, будто кто-то стучал изнутри его черепа, пытаясь вырваться наружу.

– Ты же видел его, – Лео хрипло кивнул в сторону небольшой группы людей, столпившихся у подножия лесов. Среди них, выделяясь строгим темно-синим костюмом, не по погоде, стоял его отец. Он что-то живо, с привычной деловой хваткой обсуждал с организаторами фестиваля, ни разу не взглянув на стену, на работу сына. – Если этот мурал не впечатлит какую-нибудь серьезную галерею, вроде «Арт-Ростова», я до конца своих дней буду считать шестеренки в его проклятом цеху и слушать лекции о «настоящем мужском деле».

Армен лишь хмыкнул, поправляя на запястье старый, потертый браслет из черного кожаного шнура – единственное, что осталось у него от отца, погибшего при попытке пересечь границу. Браслет пах пылью и дальними дорогами.

– В моем селе, высоко в горах, старики говорят: когда река зовет по-настоящему, у тебя всего два выхода, – голос Армена стал тише, серьезнее. – Либо ты плывешь по ее течению, куда бы оно тебя ни несло, либо навсегда остаешься частью ее берега, удобрением для ивовых

корней. Ты, друг, уже который месяц похож на песок, который перемалывают колеса огромной телеги. Перестань бороться. Или плыви. Или смирись.

Лео не ответил. Его взгляд, скользя по толпе, зацепился, наткнулся на что-то чужеродное. Женщина. В сером, простом, до безличия платье, которое, казалось, вырезанным из самого полотна предзакатного сумрака, хотя до вечера было еще далеко. Она стояла чуть в стороне от всех, на самом краю человеческого потока, как тень, оторвавшаяся от своего хозяина и застывшая в нерешительности. И ее глаза... Они были цвета донского ила, темные, почти черные, бездонные. Они смотрели не на мурал, не на его яркие краски. Они смотрели сквозь него. Сквозь слои краски, штукатурки и кирпича. Сквозь него самого.

– Твой голод... Он ощущается в каждом мазке, в каждой линии, Лео. Он манит. Как ночных бабочек на огонь. Как речные тени на первый луч света.

Ее пальцы, коснувшиеся его руки в момент, когда она вручала ему визитку, были холоднее любой стали, холоднее зимнего ветра с Дона. Лео сжал крохотный прямоугольник картона до хруста, вжав в ладонь углы. «Маргарита Ветрова, галерея „Темные сердца“». Слова, которые он хотел произнести – вопрос, крик, недоумение – застряли в горле колючим, не проглоченным комом. Откуда она знает? Откуда она может знать про этот «голод»? Про то ненасытное, тоскливое чувство, которое поднималось из глубины живота каждый раз, когда он заканчивал очередной эскиз, опустошая его изнутри, оставляя после себя пустоту солонее самой соленой морской воды.

Но Армен был уже рядом, вклинился между ними своим телом, широко расставив руки, словно ставя щит между другом и незнакомкой.

– Брат, это звучит как предупреждение из тех самых моих армянских сказок, – он усмехнулся, но его пальцы, легшие на плечо Лео, сжались с такой силой, что тому стало больно. В глазах Армена не было и тени веселья. – Знаешь, тех, где прекрасные незнакомки оказываются духами, крадущими сердца у доверчивых путников. Особенно когда эти незнакомки знают твое имя, а ты их видишь впервые в жизни.

Маргарита улыбнулась лишь одним уголком губ. Ее губы были бледными, почти бесцветными.

– Искусство не выносит анонимности, молодой человек. Оно всегда находит тех, кто по-настоящему голоден. Голоден до признания, до бессмертия в красках. Оно идет на зов такой души.

Когда она растворилась в толпе, не обернувшись, Лео обнаружил, что дышит коротко и поверхностно, как птица, попавшая в силоч. Точка в глазу пульсировала чаще, теперь ее стук сливался в один непрерывный, назойливый гул. Он обернулся, поднял голову к своему муралу. И кровь застыла в жилах.

Женский образ, его «внутренний голод», воплощенный в краске, больше не смотрел в сторону, на толпу. Его нарисованные глаза, всего минуту назад устремленные вдаль, теперь были обращены прямо на него. А губы, которые Лео тщательно вывел утром тонкой, сомкнутой линией, теперь были приоткрыты. В беззвучном, отчаянном крике.

«Помнишь, сынок, старую легенду про водяного, что живет в нашем Дону?»

Голос матери всплыл в памяти так внезапно и так отчетливо, будто она стояла тут же, на шатких лесах, обняв его за плечи. Он чувствовал почти физически прикосновение ее пальцев, глядящих его волосы, запах ее духов – ванили и полевых цветов. Она рассказывала это, когда он был маленьким и боялся засыпать в темноте. О духе, старом, как сама река, живущем в самом густом иле, в омутах и под подмытыми берегами. О том, что он может даровать невероятный талант, вечную красоту творчества, славу... тем, кто принесет ему в дар частичку своей души. «Но он никогда не берет сразу, сынок, – шептала она тогда, и ее голос звучал печально. – Сначала он дает. Дарит вдохновение, как сладкий яд. А потом требует все больше и больше... Пока не заберет всего человека.»

Иногда, когда она рассказывала о водяном, её глаза становились странными – неподвижными, как гладь реки перед бурей. После таких вечеров она долго сидела у окна, глядя в сторону воды. Маленький Лео думал, что мама просто устала, но теперь понимал: она слушала, ждала ответа. Река говорила с ней, а он тогда не услышал.

Лео сжал ручку кисти так сильно, что дерево затрещало, а пальцы онемели. Вчерашняя ночь... Рисуя тени вокруг лица, лепя из света и тьмы черты, он чувствовал это – сладкую, опьяняющую эйфорию. Когда краска будто текла сама собой, повинаясь не его воле, а какой-то высшей силе. Когда время останавливалось, и весь мир сужался до кончика кисти и стены. Но потом, в тот самый миг, когда он поставил последнюю точку в глазу, пришло другое чувство – леденящее, парализующее понимание. Мурал не закончен. Он не просто не закончен. Он требует чего-то. Кого-то. Он голоден.

– Ты опоздал на три часа. Целых три часа, Леонид!

Отец стоял у основания лесов, сжимая в своей большой, привыкшей к металлу руке белый конверт. Лео знал, что внутри – распечатка его последних оценок из университета. Лицо отца было искажено знакомой гримасой разочарования и гнева.

– Твоя математика, физика – это просто дно. Грязное, илистое дно. Пустое. Как твои перспективы, если ты не возьмешься, наконец, за ум!

Лео смотрел на него, но видел перед собой не отца, а бледное, улыбающееся лицо Маргариты Ветровой. Ее слова эхом отдавались в такт пульсации в виске: Он манит меня, как тени к свету.

– Я... мне сделали предложение. От галереи, – выдавил он, чувствуя, как язык заплетается.

– От какой еще галереи? – отец с силой смял конверт, бумага хрустнула жалобно. – От тех, кто будет платить тебе за то, чтобы ты пачкал стены? Престижно, нечего сказать!

– От тех, кто видит, что я могу что-то! – голос Лео сорвался на крик. Он потряс в воздухе визиткой, как знаменем. – Она сказала... она сказала, что видит мой голод!

– Голод? – отец рванулся вперед, схватил его за руку и стащил вниз по лестнице лесов так резко, что Лео едва удержался на ногах. Дорогая кисть выскользнула из ослабевших пальцев и упала на асфальт. – Ты голоден, потому что не ешь нормально! Не спишь! Потому что вместо учебы и работы пропадаешь тут, рисуешь эти... эти детские каракули!

Когда отец, фыркнув, ушел, тяжело стуча каблуками по плитке, Лео молча наклонился и поднял кисть. На заостренном кончике щетины застыла капля краски. Но она была не оранжевой, не того цвета, которым он работал. Она была черной. Густой, маслянистой, неестественно живой. И пока он смотрел на нее, капля медленно, против всех законов физики, сползла вниз и упала на серый асфальт. Но не растеклась. Она зашевелилась. Извилась. И медленно, словно червь, ощупывая путь, поползла по направлению к воде, к Дону, оставляя за собой тонкий, блестящий влажный след.

Армен молчал почти всю дорогу, пока они шли вдоль набережной. Ветер с Дона, обычно несущий прохладу, сегодня был тревожным и колючим. Он трепал их простые хлопковые футболки, забирался под одежду, но Лео чувствовал не освежающий холод, а внутреннюю ледяную пустоту в груди – точно там, где всего пару часов назад билось, трепетало то самое ненасытное «что-то», что он называл своим голодом.

– Ты... ты веришь во все это? – наконец, выдохнул Лео, не в силах вынести тишину. Его взгляд был прикован к воде. Дон сегодня был спокоен, почти неподвижен, и от этого казался еще более грозным и глубоким. – В легенды? В духов? В... всю эту чертовщину?

– В Армении, в моих краях, верят не столько в духов, сколько в память, – Армен ответил не сразу, его глаза были прищурены, он смотрел куда-то далеко, за горизонт. – Верят, что земля, камни, реки – они все помнят. Помнят каждую слезу, каждую каплю крови, каждую просьбу и каждую клятву. И иногда... иногда эта память просыпается. – Он порылся в

кармане своих потертых джинсов и вытащил смятый обрывок местной газеты. – Вот. Видел? Вчера вечером. В районе все тех же Парамоновских складов. Пропал парень. Художник. Граффити-райтер. Третий за этот месяц. И все они... все они работали над муралами у самой воды.

Лео замер. Ледяная пустота внутри вдруг заполнилась тяжелым, быстро застывающим свинцом. Он посмотрел на воду. Вода в Дону, отражая закатное небо, должна была быть окрашена в золотые и багряные тона. Но в отражении, которое видел он, не было солнца. Только черные, маслянистые пятна, пульсирующие в такт стуку в его виске и сердцу. Раз. Два. Три.

– Она знает, – прошептал он, почти не осознавая, что говорит вслух. – Эта женщина... Маргарита. Она знает, что я чувствую. Что со мной происходит.

– Тогда беги, – голос Армена прозвучал резко и бескомпромиссно. Он сунул Лео в руку маленький, шершавый предмет. Это был армянский оберег – кусок обожженной глины, на котором были выпцарапаны древние, непонятные символы. Он был теплым от тепла руки друга. – В моей деревне такие дают тем, кто слышит зов реки. Чтобы помнили, что у всего есть своя цена. Но запомни, Лео: иногда самый желанный дар – это самый страшный долг.

Когда Армен ушел, его фигура быстро растворилась в сгущающихся сумерках, Лео разжал пальцы и снова посмотрел на визитку Маргариты. Бледные, строгие буквы на лицевой стороне казались совсем обычными. Он перевернул картонку. И сердце его на мгновение остановилось.

На обратной стороне, там, где всего час назад был чистый, белый картон, теперь проступали надписи. Не напечатанные, а как будто процарапанные ногтем или выведенные чернилами, которые впитались глубоко внутрь. Буквы складывались в слова, написанные его собственным, до боли знакомым почерком: Ты уже принадлежишь мне.

Вода в Дону в метре от него вдруг вспенилась с тихим булькающим звуком. И где-то вдали, в наступающих сумерках, отчетливо, ясно и леденяще душу, засмеялась женщина. Тот самый смех, холодный и безрадостный, который он уже слышал сегодня.

Мир провалился в темноту.

Ветер с Дона усилился, и город словно качнулся, как старый плот на течении. Стена перед ним дрогнула – не от ветра, а от дыхания, будто выдохнула долгий, вязкий вздох. Лео шагнул назад, но воздух стал плотным, почти жидким. Внизу под ним мелькнула гладь воды – слишком близко, слишком темно.

– Не бойся, – шепнул голос, в котором было больше тумана, чем слов. – Это всего лишь первый вздох реки.

Всё вокруг растворилось в темноте, как краска в воде.

Лео проснулся от пронзительного, назойливого звона будильника в телефоне. Голова раскалывалась, во рту был мерзкий привкус меди и страха, а мышцы ныли, словно он всю ночь бежал марафон, а не ворочался в беспокойном полусне. Сон не хотел отпускать его, цепляясь когтями за сознание. В ушах все еще звучал голос матери, тихий и печальный, рассказывающий ту самую легенду о водяном, хозяине Дона. "Он не берет сразу, сынок, сначала он дает вдохновение, сладкий яд творчества, а потом требует все больше и больше..." Он с трудом оторвал голову от подушки, потянулся к тумбочке, чтобы заставить умолкнуть этот оглушительный гудок.

И замер. Палец застыл в сантиметре от экрана.

На заставке, поверх его собственной фотографии с Арменом на фоне все тех же складов, горело яркое, мигающее уведомление: "Напоминание: встреча с Маргаритой Ветровой. Галерея «Темные сердца». 14:00".

Он не записывал это напоминание. Он был в этом абсолютно уверен. Вчера, после разговора с отцом и встречи с Арменом, он пришел домой, рухнул на кровать и провалился в тяжелое, беспросветное забытие. Не до напоминаний.

Сердце принялось бешено колотиться, снова нащупывая тот тревожный, чужой ритм. Лео сел на кровати, пытаясь собрать разбегающиеся мысли в единое, логичное целое. Вчерашний день напоминал теперь не последовательность событий, а разрозненные, яркие, но лишённые смысла кадры из чужого кино. Мурал, пульсирующий теплом. Женщина в сером. Ее ледяные пальцы. Отец. Гнев. Черная, живая краска. Армен. Оберег. Надпись на визитке. Смех над водой.

Было ли это все реальным? Или это была одна долгая, изматывающая галлюцинация, вызванная недосыпом, стрессом и голодом? Он подошел к окну, отдернул занавеску. За стеклом Ростов просыпался, начинался новый день. Но что-то было не так. Не глобально, не явно, а на уровне ощущений, как фальшивая нота в знакомой мелодии. Тени от зданий ложились под каким-то неестественным, слишком острым углом, будто солнце встало не на востоке, а где-то, с другой стороны. И воздух, просочившийся в щель рамки... Он пах не выхлопными газами и пылью мегаполиса. Он пах водой. Не свежей речной, не морской соленой, а стоячей, старой, густой водой. Водой из глухого затона, где на дне годами гниют листья и тина.

Лео закрыл глаза, пытаясь ухватиться за хоть что-то твердое в этом уплывающем мире. Он вспомнил вчерашний вечер. Последний мазок на мурале. Тот самый миг, когда он почувствовал, как краска не ложится на стену, а впитывается в нее, проваливается внутрь, как в глубоководную, ненасытную глотку. И как после этого в правом глазу появилась эта точка. Эта крошечная, черная дырочка в реальности, которая пульсировала в такт с его собственным сердцем.

Он подошел к зеркалу над комодом, вглядываясь в свое отражение. Лицо бледное, под глазами фиолетовые, почти черные тени. Глаза... В правом глазу точка была на месте. Маленькое, темное, почти невидимое со стороны пятнышко у самого края радужки. Он моргнул – и оно исчезло. Снова моргнул – оно появилось. Оно жило своей собственной, отдельной от него жизнью. Оно было здесь. И оно было реальным.

"Искусство не терпит анонимности. Оно всегда находит тех, кто голоден."

Эти слова, произнесенные голосом, холодным и влажным, как донской туман, звенели в голове Лео, не давая сосредоточиться, сопровождая каждый его шаг по направлению к галерее «Темные сердца». Он шел по знакомым улицам, но под ногами вместо твердого и надежного асфальта ощущал что-то другое – влажное, податливое, скользкое. Как илистое речное дно. Он даже остановился, чтобы посмотреть на свои кеды – они были слегка запаханы вчерашней краской, но абсолютно сухие. Однако, когда он поднял голову, по спине пробежал ледяной пот.

Улица была пуста. Совершенно пуста. Ни машин, ни прохожих. Давно знакомые здания стояли по обе стороны, но их окна были темными, слепыми, словно глаза мертвой рыбы. И тишина... Она была абсолютной, густой, давящей. Его собственные шаги отдавались в ней гулким, непривычным эхом.

Лео почувствовал, как паника, холодная и липкая, начинает подниматься по спине. Он ускорил шаг, почти побежал. Надо было добраться до галереи. Найти Маргариту. Узнать, что все это значит. Объяснить, что он ошибся, что он не голоден, что он хочет, чтобы все это прекратилось.

Но улица, обычно короткая и прямая, вдруг стала бесконечно длинной. Дома по обеим сторонам начали повторяться, как декорации в дурном, замкнутом кошмаре. Он свернул за угол, надеясь срезать путь через двор, – и оказался ровно перед тем же зданием, от которого только что отошел. Его сердце бешено заколотилось, горло пересохло.

– Ты уже принадлежишь мне, – прошелестело прямо у него над ухом. Шепот был беззвучным, больше похожим на движение воздуха, но слова отпечатались в мозгу с кристальной ясностью.

Лео зажмурился, обеими руками упершись в холодную стену ближайшего дома. Ему нужно было сосредоточиться. Взять себя в руки. Он представил свой мурал. Каждый его сантиметр. Женский образ, рожденный из его собственных страхов и желаний. Его «внутренний

голод», запечатленный для всеобщего обозрения. Он представил, как вел кистью, добавляя последний, соединяющий все воедино штрих – ту самую линию от глаза к зрителю. И в этот миг он снова почувствовал ту самую эйфорию, сладкий и опасный дурман творчества.

Когда он открыл глаза, мир вернулся на место. По улице ехали машины, спешили по своим делам люди, гремели трамваи. Никто не смотрел на него, никто не замечал его паники. Словно ничего и не было.

Галерея «Темные сердца» оказалась небольшим, приземистым особняком в одном из старейших районов города, затерявшимся в гуще таких же старых, немых домов. Она была выкрашена в глубокий синий цвет, настолько темный, что казался почти черным, поглощающим солнечный свет. Лео медленно поднялся по каменным, слегка потрескавшимся ступеням, чувствуя, как с каждым шагом точка в его глазу пульсирует все сильнее, сливаясь в сплошной, нарастающий гул. Массивная деревянная дверь с черной железной фурнитурой открылась беззвучно, сама собой, прежде чем он успел до нее дотронуться.

Внутри царила густая, почти осязаемая полумгла. Воздух был спертым и пах старыми книгами, пылью и все той же стоячей водой. Высокие стены были увешаны картинами в тяжелых, темных рамах, но разглядеть сюжеты было невозможно – образы на них ускользали от взгляда, сливались в размытые пятна, будто написанные не краской, а самой тьмой. Единственный источник света – тусклая лампа под абажуром из черного стекла на массивном деревянном столе в центре зала.

И в этом свете, как на сцене, стояла Маргарита. Ее серое платье сегодня, казалось, еще более простым и безликим, но в полумраке оно переливалось странными, перламутровыми отсветами, напоминая чешую огромной рыбы.

– Я знала, что ты придешь, – ее голос прозвучал глухо, будто доносился не через воздух, а сквозь толщу воды, со дна глубокого колодца.

– Вы... вы записали мне напоминание в телефон, – выдавил Лео, с трудом разжимая склеенные страхом губы. Ком в горле мешал глотать.

– Нет, Леонид, – она улыбнулась все тем же односторонним, безрадостным движением губ. – Это сделал ты сам. Своей волей. Потому что часть тебя, самая важная и голодная часть, уже здесь. Она ждала этого момента.

Она сделала шаг навстречу, выйдя из круга света. Ее глаза были точной, до жути знакомой копией тех, что он нарисовал на стене Парамоновских складов. Глаза цвета донского ила. Смотря на них, Лео почувствовал, как внутри него просыпается, шевелится и поднимает голову то самое ненасытное чувство. Его внутренний голод. Он был жив. И он требовал пищи.

– Что... что происходит со мной? – прошептал он, но в глубине души уже знал ответ. Он знал его с самого момента, когда почувствовал, что стена дышит.

– Ты начал процесс, Леонид, – Маргарита медленно, почти невесомо коснулась его руки. Ее прикосновение было ледяным, оно пронзило кожу, мышцы, дошло до самых костей, заставив его содрогнуться. – Вчера. В тот самый миг, когда ты добавил последний мазок к своему творению... Ты призвал его. Открыл ему дверь. Хозяина этих вод. Водяного, духа Дона. Он чувствует твой голод, Лео. Он всегда чувствует таких, как ты. И он готов накормить тебя. Насытить. Но за плату.

– Но моя мать... она рассказывала мне легенду... – голос Лео предательски дрогнул.

– Она знала, – кивнула Маргарита, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на жалость, но такое древнее и холодное, что стало еще страшнее. – Она была одной из нас. Художницей. Певчей. Творцом. И она тоже принесла ему жертву. Чтобы получить свой дар. Чтобы творить. Но не свою.

Лео почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. Весь мир перевернулся с ног на голову. Его мать... Она умерла, когда ему было десять. Официальная причина – скоротечная пневмония. Но отец никогда не говорил о подробностях, его лицо становилось каменным.

Теперь Лео понимал, что это была ложь. Она умерла от чего-то другого. От того, с чем он столкнулся сейчас.

– Что... что я должен сделать? – это был уже не голос, а всего лишь выдох, полный отчаяния и странного, непонятного самому ему ожидания.

– То, для чего ты пришел сюда, – Маргарита плавным движением руки указала на глухую стену позади себя. Лео только сейчас заметил, что там стоит большой, почти в человеческий рост, мольберт, а на нем – чистое, белое полотно. Но пока он смотрел, на белизне холста стали проступать слабые, едва заметные линии. Сначала тени. Потом они стали складываться в очертания. В женское лицо. Точь-в-точь такое, какое он нарисовал на стене. Его творение. Его голод. – Ты должен завершить то, что начал. Наполнить его. Но помни правило реки, правило искусства: каждая кисть требует жертвы. Каждый мазок – частички живой души. Его... или твоей.

Лео, почти не помня себя, на ногах, которые казались ватными, подошел к мольберту. На стоящем рядом столике уже лежали кисти, тюбики с краской. Его руки дрожали, предательски тряслись. Но едва его пальцы сомкнулись вокруг знакомой, шершавой ручки кисти, дрожь прекратилась. Рука стала твердой и уверенной. И он снова почувствовал это. Ту самую, сладкую и всепоглощающую эйфорию. Эйфорию творца. Время вокруг замедлилось, звуки уличного города заглохли, остался только он, холст и краска, которая, казалось, текла сама собой, ложась именно туда, куда было нужно.

Но когда он нанес первый мазок, что-то изменилось. Кисть в его руке была не просто инструментом. Она была шприцем, насосом, пиявкой. Он чувствовал, как с каждым движением, с каждым прикосновением к холсту, из него самого, из глубины его существа, вытягивается что-то теплое, живое, светлое. Его энергия. Его силы. Его... душа. И в этот миг, пронзительный и ужасный, к нему пришло окончательное понимание.

Его внутренний голод, та ненасытная пустота, которую он все это время пытался заполнить творчеством, никогда не принадлежала ему. Она никогда не будет утолена. Потому что это был не его голод. Это был голод той самой древней, ильной сущности, живущей на дне Дона. Голод, который та передавала по наследству, от творца к творцу. Голод, который достался ему от матери.

Когда Лео вышел из галереи, солнце уже клонилось к закату, окрашивая город в багряные и золотые тона, которые сегодня казались ему дешевой, театральной подделкой. В руке он сжимал свернутый в трубку лист бумаги – предварительный контракт на создание целой серии муралов вдоль набережной Дона. Сумма гонорара была указана такая, что у него перехватило дыхание. В кармане джинсов лежала та самая визитка, но теперь на ней было вытиснено не «галерея „Темные сердца"», а что-то другое, какие-то другие слова, которые он не мог прочитать, потому что буквы постоянно двигались, извивались, словно черви на крючке.

Он медленно брел домой, чувствуя, как с каждым шагом внутри него растет, раздувается та самая знакомая пустота. Но теперь это была не та пустота, что накатывает после бессонной ночи за работой, которую можно заполнить едой, сном, общением с друзьями. Нет. Это была пустота другого порядка. Холодная, бездонная, как омут. Пустота, которая не просто существовала, а требовала, требовала немедленного заполнения. Голод, который становился все сильнее и физически ощутимее с каждым шагом, с каждым ударом сердца.

И где-то в самой глубине, на дне этого голода, теплилась крошечная, слабая, но упрямая мысль. А что, если это и есть то, чего он всегда хотел? Признание. Вдохновение, не иссякающее, а постоянное, как течение реки. Возможность творить, стать великим, оставить свой след. Пусть даже ценой. Ценой части себя. Ценой той души, которой он, как теперь понимал, все равно никогда полностью не обладал.

Вода в Дону внизу, под набережной, блестела в косых лучах заходящего солнца, как расплавленное золото, под которым скрывалась непроглядная тьма. Лео остановился у парапета, оперся на холодный камень и посмотрел вниз, на свое отражение в темной воде.

Но это было не его лицо. Вода, темная и плотная, как жидкий уголь, отражала другое лицо. Женщины с мурала. С его творения. Ее губы, которые он нарисовал сомкнутыми, а потом увидел приоткрытыми в крике, теперь были растянуты в широкой, беззвучной, торжествующей улыбке.

Глава 2: Тени за обеденным столом

Прошла ночь. Лео не сомкнул глаз. Между тьмой и рассветом ему казалось, что за окном кто-то шепчет – тихо, размеренно, в ритме пульса. Когда рассвело, запах краски в комнате был густым, словно мурал всё ещё сохранил дыхание. Всё, что случилось у воды, не исчезло. Оно последовало за ним домой.

Воздух в квартире отца был всегда одинаковым: пахло воском для паркета, свежей газетной бумагой и тмином из хлебницы – стерильный, предсказуемый, мертвый запах. Лео вошел внутрь, и этот воздух обволок его, как саван. Он всегда чувствовал себя здесь чужаком, незваным гостем, нарушающим своим присутствием безупречный порядок мироздания инженера Николая Игнатьевича.

Его комната была островком хаоса, дрейфующим в море выверенного до миллиметра спокойствия. Он закрыл за собой дверь, прислонился к ней спиной, пытаясь отдышаться. В ушах все еще стоял гул города, смешанный с навязчивым, как зудит заживающая рана, ритмом – тот самый, что пульсировал в правом глазу. Раз-два. Раз-два. Словно метроном, отсчитывающий секунды до чего-то неминуемого.

Хаос в комнате был обманчивым. Это был творческий, живой беспорядок. Холсты, прислоненные к стенам, пестрели вспышками цвета – яростный алый, глубина ультрамарина, тревожная охра. На одном – эскиз того самого мурала, женский лик с глазами-безднами. Лео отвернулся. Краски на палитрах застыли бугристыми корками, похожими на запекшуюся кровь, на старые раны. Воздух был густым, сладковато-терпким от запаха разбавителя, масла и пота. Здесь время текло иначе, не линейно, как в отцовском мире, а кругами, завихрениями, замирая в движении кисти и вновь ускоряясь в приступе вдохновения. Это было его логово, его утроба. А за тонкой дверью – чуждый мир. Мир прямых линий, точных расчетов и железобетонной предсказуемости.

Он вымыл руки, но тёплая краска никак не смывалась, будто проступала изнутри кожи. Вода из крана пахла тиной. Лео выключил её и долго смотрел на своё отражение. Оттуда смотрел не он – усталый, но уже другой.

– Опять тащишь грязь с улицы, – раздался голос из гостиной. Он был ровным, без эмоциональным, как чтение технической инструкции. – Неужели нельзя войти, как нормальный человек? Снять обувь?

Лео вздрогнул, хотя ждал этого. Он посмотрел вниз, на свои заляпанные краской кеды. На идеально вымытом, буквально скрипящем от чистоты линолеуме они оставили два мутных, размазанных следа. Желтовато-коричневых, как земля после дождя. Он видел в них не грязь, а следы жизни, отметины своего существования. Каждый след – это история: вот тут он споткнулся о банку с окислившимся золотом, а здесь отмахнулся от навязчивой мысли, и кисть брызнула. Он хотел выкрикнуть, что эти следы – часть его, что без них он просто призрак, бледная тень в мире отцовских чертежей. Но слова, как всегда, застряли комом в горле, горьким и безгласным. Вместо этого он лишь глухо, уже почти привычно, кивнул в сторону голоса и прошел в свою комнату, чувствуя, как ненавистная точка в глазу начинает пульсировать чаще, словно реагируя на присутствие отца.

Обеденный стол был накрыт с той же безупречной, почти маниакальной точностью, с какой Николай Игнатьевич рассчитывал сопротивление материалов. Тарелки стояли ровно по центру приборных кругов, столовые приборы лежали строго параллельно друг другу под одним и тем же углом к краю стола, стеклянные стаканы сверкали стерильным блеском, а бумажные салфетки были сложены не просто треугольниками, а остроконечными пирамидками, будто для какого-то торжественного ритуала, а не для обычного ужина.

Лео опустился на стул, чувствуя, как под тяжестью усталости подкашиваются ноги, а пальцы предательски дрожат. После вчерашнего фестиваля он не сомкнул глаз, пытаясь выцарапать из памяти проступающий сквозь мрак пронзительный образ мурала – эти глаза, которые, казалось, видели его насквозь, знали все его страхи и самое потаенное. Но сейчас, за этим безупречным столом, под холодным, оценивающим взглядом отца, ему стало еще хуже. Холодный ужас одиночества сменился жарким, липким страхом быть непонятым, быть уничтоженным.

– Ну что, – отец отложил в сторону газету, сложенную в идеальный ровный прямоугольник. Лист не смялся, не покосился – просто лег на край стола, как деталь конструктора. – Твой «фестиваль» состоялся? Балаган для неудачников?

– Да, – Лео сглотнул ком в горле и потянулся к ножу, чтобы нарезать вареную картошку. Но пальцы не слушались, были ватными, чужими. Нож выскользнул из непослушных пальцев, звякнул о тарелку и оставил на белоснежном фарфоре тонкую, но зияющую царапину. Звук показался ему оглушительным.

– И что? – отец, не спеша взял бутылку с минеральной водой, налил себе ровно до нарисованной производителем риски на стакане. Ни капли выше, ни капли ниже. – Ты наконец-то осознал, что это пустая трата времени? В газете пишут, – он кивнул на издание, – что тридцать процентов участников подобных «творческих тусовок» не могут найти работу через год после окончания учебы. Безделье. Позорище.

– Это не просто фестиваль, пап, – Лео почувствовал, как знакомый, тяжелый ком подкапывает к горлу, сдавливая его. Голос стал сиплым. – Это «Ничего страшного». Один из крупнейших в южном регионе. Уличный арт – это...

– Уличный арт, – отец скривил губы, будто попробовал что-то протухшее. Его лицо, обычно непроницаемое, исказилось гримасой искреннего отвращения. – То есть, граффити. Малёвки. То, что милиция закрашивает через неделю, потому что это вандализм. Порча муниципального имущества.

Лео сжал кулаки под столом так, что суставы побелели. Он видел, как вчера отец подошел к его муралу. Стоял в толпе, но не сливался с ней. Он видел, как его глаза, холодные и аналитические, скользили по стене, не как по произведению искусства, а как по бракованному техническому чертежу, испещренному критическими ошибками. Он видел, как тот отвернулся, не дождавшись конца, не досмотрев, не увидев главного.

– Ты не понимаешь, – Лео почувствовал, как горло сжимается еще сильнее, а в висках начинает стучать тот самый ритм. – Это не просто рисунки. Это... это голос. Это...

– Это что? – отец отхлебнул воды ровно один глоток и поставил стакан точно на оставшийся от него влажный круг. – Это твое будущее? Пачкать стены, пока нормальные люди строят мосты, дома, заводы? Делать мир лучше, а не превращать его в помойку?

– Это то, что делает меня живым! – вырвалось у Лео, и он почувствовал, как точка в глазу начинает пульсировать в такт его бешено заколотившемуся сердцу, сливаясь с ним в единый, оглушительный барабанный бой. – Ты же не видишь, ты не хочешь видеть, как я...

Лео сжал кулаки. Голод внутри шевельнулся – не в животе, а глубже, где рождаются сны и страхи. Это был не голод еды, не желание славы. Это было нечто живое, дышащее внутри него, требующее не аплодисментов, а крови, красок и смысла. Иногда ему казалось, что он рисует не ради себя – ради того, кто живёт в нём и ждёт своей очереди насытиться.

– Я вижу, как ты теряешь время, – голос отца оставался ледяным, но в нем появилась опасная сталь. – Как ты идешь по кривой дорожке. Как твоя мать теряла время.

Слово «мать» грохнуло в звенящей тишине столовой, как выстрел. Оно повисло в воздухе тяжелой, грозовой тучей, заряженной током старой боли и чего-то невысказанного, запретного. Лео почувствовал, как холодная волна поднимается от самого живота, подступает к горлу, сковывает конечности. Он никогда не говорил с отцом о ней. Никогда. Между ними стояла стена

молчания, и Лео инстинктивно боялся ее разрушать, чувствуя, что за ней скрывается нечто ужасное.

– Что... что ты имеешь в виду? – прошептал он, и его собственный голос показался ему тонким, писклявым, голосом испуганного ребенка.

– Твоя мать, – отец отодвинул от себя почти полную тарелку, хотя ел всего несколько минут, – тоже обожала «творить». Сидела часами на берегу Дона, в любую погоду. Рисовала в своих блокнотиках какие-то каракули, бормотала что-то про видения, про «озарения». – Он произнес это слово с ядовитой насмешкой. – Потом начала бредить наяву. Утверждала, что река с ней разговаривает. Что великий Дон требует жертв. Что у воды есть голос, и он зовет ее.

Лео почувствовал, как пол уходит из-под ног. Комната поплыла, заплывла мутью. В памяти, словно вспышка, возник образ: мать сидит на плоском камне у воды, подставив лицо ветру. Его почти не видно, только силуэт. Ее руки не лежат на коленях, а движутся в воздухе, чертят невидимые линии, рисуют несуществующие картины. Она что-то шепчет, и маленький Лео, пристроившийся рядом, не может разобрать слов, думает, что это ласковые слова для него. Теперь до него дошло с леденящей ясностью: она говорила не с ним. Она вела диалог с рекой.

– Она была больна, Лео, – отец говорил тише, но от этого каждое слово впивалось острее заточенного ножа. – Психически. И ты идешь по ее стопам. Сначала эти твои граффити, бунт ради бури. Теперь – видения. Эта твоя точка в глазу, на которую ты все жалуешься. Что дальше? Тоже сядешь на берегу и будешь ждать, пока река придет и заберет тебя? Как забрала ее?

Лео не мог дышать. Воздух в комнате стал густым, тягучим, как пахнущая скипидаром краска. Он чувствовал, как точка в глазу пульсирует все быстрее и быстрее, уже не сливаясь с сердцебиением, а опережая его, превращаясь в сплошной, пронзительный, звенящий шум в голове.

– Это не видения, – выдавил он, и его губы онемели. – Это... искусство. Я по-другому вижу. Я чувствую...

– Искусство не кормит, сын, – отец резко встал, и его стул отодвинулся с неприлично громким скрежетом, нарушив идеальную тишину. – Оно разрушает. Твоя мать тоже «творила» свои водяных и русалок – и к чему это привело? К безумию. К тому, что однажды ее нашли на берегу. К ее смерти.

Лео сжал кулаки так, что коротко остриженные ногти впились в влажные ладони, причиняя острую, почти сладковатую боль. Эта боль была реальной. Она была якорем, который удерживал его в этом плывущем мире, не давая сорваться в пропасть.

– Это мой шанс, пап, – он почувствовал, как голос предательски дрожит, срывается на фальцет. Он ненавидел эту слабость. – Это не твой мир! Не твой мир бездушных чертежей и правильных линий!

Телефон зазвонил оглушительно, разрывая напряженную тишину, как спасательный круг, брошенный тонущему. Лео вздрогнул всем телом и бросился к нему, стоявшему на подзарядке у входа в кухню. На экране горел незнакомый номер. Без имени. Просто цифры, которые казались зловещими.

– Лео, – голос в трубке был низким, бархатным, и таким близким, будто говорящая стояла за его спиной, касаясь губами его уха. – Я ждала твоего звонка. Ждала очень долго.

В трубке, на фоне абсолютной тишины, слышался монотонный, механический стук – точь-в-точь как тот, что пульсировал у него в глазу и в висках. Как метроном, неумолимо отсчитывающий секунды до чего-то неминуемого.

– Я... – Лео бросил взгляд на отца, который замер в дверном проеме, скрестив на груди руки. Его лицо было каменным. – Я не звонил. Я не давал вам своего номера.

– Ты не должен звонить, – Маргарита (это могла быть только она) мягко улыбнулась, и Лео услышал эту улыбку в голосе – томную, знающую что-то, чего не знал он. – Ты уже здесь.

В моих мыслях. В моих картинах. В моих снах. Ты пришел ко мне вчера, со своей болью и своим голодом. И я его почувствовала.

– Кто это? – голос отца прозвучал, как удар хлыста. Он сделал шаг вперед, его брови сдвинулись в суровую, неодобрительную складку.

Лео прикрыл трубку ладонью, ощущая, как потеют пальцы.

– Галерея, – прошептал он, отвернувшись. – Они... они заинтересовались работами. Хотят...

– Скажи «да», Лео, – голос Маргариты пронзил его насквозь, остро, как шило, как кисть, протыкающая холст. – Просто скажи «да», и я открою тебе дверь. Покажу тебе, что такое настоящий, всепоглощающий голод. Не тот, что урчит в животе. Тот, что пожирает душу изнутри.

– Что она там лопочет? – отец шагнул еще ближе. Его тень накрыла Лео. – Какая еще галерея? Что за предложение?

Лео почувствовал, как точка в глазу начинает пульсировать в унисон с метрономом в трубке. Они слились в один стук, один ритм, захватывая его сознание, затягивая в гипнотический транс. Он закрыл глаза, и перед ним снова возник мурал. Женский образ. Теперь он понимал: это был не просто символ его внутреннего голода. Это было что-то другое. Что-то древнее, темное, живущее в темных водах Дона. Что-то, что давно ждало его. Высматривало.

– Скажи «да», – прошептал бархатный голос, и в нем послышалась стальная нотка. – Или я приду за тобой сама. Ты же не хочешь, чтобы я пришла сюда?

Лео открыл глаза. Отец смотрел на него с нескрываемым презрением и – что было хуже – со страхом. Со страхом узнавания.

– Это не галерея, – произнес он тихо, но четко. Каждое слово падало, как камень. – Это начало. Начало конца. Ты идешь по пути своей матери. Прямо в руки безумию.

Что-то в Лео надломилось. Горечь, обида, годами копившаяся злость на этот безупречный, бездушный мир, на этого человека, который никогда его не понимал, – все это вырвалось наружу единым, яростным порывом.

– Это мой шанс! – крикнул он, уже не в силах сдерживаться, и прижал телефон к уху так, что тот вдавился в висок. – Я принимаю! Слышишь? Я принимаю ваше предложение!

В трубке послышался тихий, довольный вздох, а затем – низкий, грудной смех, который странным образом превратился в шелест, в плеск воды, набегающей на берег.

– Умный мальчик, – прошептала Маргарита. – Жду тебя завтра. Ровно в два. Не опаздывай. Он не любит, когда опаздывают.

Лео захлопнул за собой дверь своей комнаты, прислонился к ней спиной и медленно сполз по ней на пол, на скрипучий паркет. Он обхватил колени руками, пытаясь унять дрожь, которая била его, как в лихорадке. Руки тряслись так, что он с трудом удерживал телефон.

Он должен был понять. Докопаться до сути. До правды, которую скрывал отец.

С трудом поднявшись, он плюхнулся на кровать, откинул одеяло и запустил браузер на телефоне. Пальцы заплетались, смахивали не туда. Он вбил в поиск: «Легенды Дона водяной мифы жертвы».

Поисковик выдал несколько ссылок. Заголовки мелькали, как вспышки света в темноте: «Водяной Дона: миф или жестокая реальность?», «Забытые обряды: жертвоприношения реке у древних славян», «Таинственные исчезновения: пропавшие без вести художники в районе Парамоновских складов».

Сердце у него ушло в пятки. Он кликнул на последнюю статью.

«За последние пять лет в районе старой пристани и Парамоновских складов при загадочных обстоятельствах пропали несколько молодых людей, преимущественно художников и граффити-райтеров. Все они были замечены в работе над масштабными муралами на стенах заброшенных зданий у воды. Местные жители и старики связывают эти исчезновения со старинной легендой о Водяном – духе реки Дон. Согласно поверьям, Водяной, или «дедушка

водяной», ревнив и жаден до красоты. Он заманивает к себе творческих людей, одаривая их невиданным вдохновением, но рано или поздно требует плату – их самих. Тела пропавших никогда не находят. Считается, что их души становятся вечными пленниками речного дна, тенями, которые шепчутся в плеске волн, заманивая новых жертв».

Лео почувствовал, как ледяной холод, знакомый до жути, снова поднялся от живота к самому горлу, сдавив его. Он вспомнил, как вчера краска с его кисти ложилась на стену. Нет, не ложилась – она впитывалась. Проглатывалась старой, отсыревшей штукатуркой, словно стена была живой и жаждущей. Словно мурал был не рисунком на стене, а рисунком стены самой, проступившим наружу.

Его телефон снова зазвонил. Тот же номер. Он смотрел на него, как кролик на удава.

– Ты уже прочитал, – в трубке не было вопроса. Голос Маргариты был спокоен и всеведущ. – Теперь ты начинаешь понимать. Прикасаешься к правде.

– Что вы хотите от меня? – прошептал Лео, чувствуя, как ненавистная точка в глазу пульсирует все чаще, превращаясь в настоящую боль. – Почему я?

– Ты уже знаешь ответ, – ее голос стал теплым, ласковым, как воды Дона в летний день, скрывающие под собой холодную, смертоносную глубину. – Ты чувствуешь его. Голод. Тот самый, что передался тебе по наследству. От нее. Водяной не берет сразу. Он дает. Щедро. Он дает вдохновение, силу, зрение. А потом... потом он начинает требовать назад. С процентами.

Лео закрыл глаза, и перед ним снова возникла мать. Не просто силуэт, а детали: ее тонкие, изящные пальцы, вечно испачканные углем или пастелью. Они чертят в воздухе не просто линии, а руны, знаки. Она что-то шепчет, и теперь он почти разбирает слова: «Голод реки, голод реки, накорми меня вдохновением, а я отдам тебе частичку души. Кровь свою, плоть свою, душу свою...»

– Она знала, – прошептал Лео, и по его щеке скатилась предательская слеза. – Она знала, с кем имеет дело.

– Она выбрала тебя, Лео, – голос Маргариты стал тише, интимнее, страшнее. – Она отдала ему часть себя, но этого было мало. Она отдала ему свой долг. Свой голод. Передала его тебе по наследству, чтобы ты продолжил ее путь. Расплатился. Но теперь... теперь пришло время платить по всем счетам. Он ждал, пока ты вырастешь. Окрепнешь. Наполнишься силой.

Лео почувствовал, как внутри него, в самой глубине, разверзается пустота. Не знакомая пустота после бессонной ночи за работой, когда все соки ушли в картину. Нет. Это была иная пустота – черная, бездонная, живая. Она требовала заполнения. Голод, который становился все сильнее, все нестерпимее с каждым ударом метронома в его голове, с каждым шепотком Маргариты. Он хотел творить. Не для славы, не для отца. Чтобы заткнуть эту дыру. Чтобы накормить зверя внутри.

– Брат, ты там вообще живой? – голос Армена в наушниках прозвучал резко, по-деловому, и это вырвало Лео из оцепенения. Он сидел на полу, обняв колени, и не заметил, как стемнело за окном. – Ты на том конце провода как призрак. Дышу. Говори.

Лео сглотнул. Горло было сухим, как пыль.

– Она знает, Армен, – его голос сорвался на шепот. – Эта женщина... Маргарита. Она знает про мою мать. Про водяного. Про этот... голод.

На той стороне наступила тишина. Не просто пауза, а тяжелое, напряженное молчание.

– Слушай меня очень внимательно, Лео, – наконец заговорил Армен. Его голос, обычно полный иронии, стал низким, серьезным, каким бывал лишь в редкие моменты. – У нас, в моей старой деревне, есть похожая легенда. Не про Дон, про другую речушку. Говорят, что речные духи – они как паразиты. Ищут не просто талантливых. Они ищут тех, у кого в крови уже течет их вода. Чьи души уже отмечены, уже частично принадлежат им. Кого выбрали.

– Моя мать... она...

– Да, – Армен перебил его. – Ты не первый. Я вчера смотрел сводку новостей по области – еще один парень пропал. Возле тех же Парамоновских складов. Граффити-художник. Талантливый пацан. Третий за этот месяц. И знаешь, что общего? Все они перед исчезновением получали какое-то «заманчивое предложение» о сотрудничестве. От какой-то галереи, которую никто и никогда не видел.

Лео почувствовал, как холодный пот выступил на спине. Пол снова закачался под ним.

– Что мне делать? – это прозвучало как стон.

– Самое простое и самое сложное – не иди, – Армен говорил твердо, не оставляя пространства для сомнений. – Это ловушка. Классическая ловушка духа. Он выбирает тех, кто уязвим. Кто голоден до признания. Кто готов продать часть себя, лишь бы его увидели. И он дает им это. А потом забирает все.

– Но это мой шанс! – в голосе Лео снова зазвенела отчаянная нота. Он цеплялся за это, как утопающий за соломинку. – Ты же видел, что я сделал! Ты видел мурал! Это же... это гениально! Я могу! Я должен!

– Я видел, как ты смотришь на эту стену, – безжалостно оборвал его Армен. – Не как художник на работу. А как наркоман на дозу. Ты не первый, кто думает, что он сильнее, хитрее, талантливее. Что он сможет обмануть древнюю силу. Но река всегда побеждает. Потому что ее голод – он вечный. А наш, человеческий, – мимолетный. И он всегда сильнее любого страха.

Лео закрыл глаза. Перед ним снова возник образ с мурала. Женщина. Маргарита. Водяной. Они сливались в одно целое. И теперь он понимал: это не метафора. Это приглашение. Это ловушка. И он уже почти попал в нее.

– Я... я должен пойти, – прошептал он, почти не веря собственным словам. – Я чувствую, что должен. Он зовет. Иначе... иначе этот голод сожрет меня изнутри.

Со стороны Армена послышался тяжелый, продолжительный вздох.

– Ладно. Глупый, упряжный русский череп, – в его голосе снова мелькнула тень привычной насмешки, но тут же исчезла. – Тогда держись. Я приеду к тебе завтра утром. У меня кое-что есть. Старая безделушка от бабки. Оберег. Не знаю, поможет ли против такой силы, но попробовать стоит. Но запомни раз и навсегда, Лео: иногда самый желанный дар – это самый страшный долг. И платить по нему придется куда дороже, чем ты можешь себе представить. Не золотом. Не потом. А собой.

Лео лежал в полной темноте, уставившись в потолок, который тонул во мраке. Точка в глазу пульсировала ровно, методично, сливаясь с метрономом, который теперь звучал не в телефоне, а прямо у него в голове, в крови, в костях. Раз, два, три. Раз, два, три. Отсчет до встречи. До четырнадцати ноль-ноль.

Он вспоминал вчерашний день. Последний мазок. Как краска не легла на стену, а будто бы провалилась внутрь, впиталась, была поглощена ненасытной глоткой старой кладки. И как сразу после этого, словно щелчок выключателя, в правом глазу появилась эта точка. Пульсирующая в такт сердцу. А теперь – и в такт чему-то другому.

Он подошел к зеркалу, висевшему над раковиной. В темноте его отражение было бледным пятном. Он всмотрелся. Точка была на месте – крошечное, темное, почти черное пятнышко в самом уголке зрачка, словно заноза, вошедшая в самое яблоко. Когда он моргнул, оно исчезло. Но он знал – это обман. Оно вернется. Оно всегда возвращалось.

Он вернулся к кровати и открыл ноутбук. Синий свет экрана ослепил его, осветив бледное, испуганное лицо. Нужно было принимать решение. Окончательное. Остаться здесь, в этой клетке из правильных линий и молчаливого осуждения, где его искусство – это «балаган для неудачников», где он медленно умирает от жажды. Или сделать шаг. Шаг навстречу голоду. Навстречу речному духу. Навстречу Маргарите и обещанному забвению в творчестве.

Он открыл новый документ. Руки дрожали, но пальцы сами побежали по клавишам, выстукивая знакомые слова. Заявление об увольнении из художественной школы, где он под-

рабатывал, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Слова шли легко, слишком легко, будто кто-то другой водил его руками, продиктовал текст прямо в мозг.

Когда он поставил последнюю точку, в углу экрана плавно всплыло уведомление: «Напоминание: встреча с М. в 14:00. Место: Парамоновские склады, главный элеватор».

Мороз пробежал по коже. Он не записывал этого напоминания. Никогда.

Лео с силой захлопнул ноутбук, словно пытаясь запереть что-то внутри. Он повалился на кровать, на спину, и уставился в темноту. И тогда он услышал. Сначала тихо, почти иллюзорно, а потом все явственнее. Негромкий, ласковый шелест. Шелест воды, набегающей на гальку. Где-то вдали, в самой глубине слуха, послышался сдержанный, низкий женский смех. Словно кто-то в сером платье стоял в углу его комнаты и смеялся над ним.

Метроном в голове продолжал свой отсчет. Раз, два, три. Раз, два, три.

И Лео с ужасной, бесповоротной ясностью понял: точка невозврата пройдена. Он уже сделал свой выбор. Цепляться за прошлое было бессмысленно. Голод – тот вечный, вселенский голод творца – был сильнее любого страха. Сильнее рассудка. Сильнее инстинкта самосохранения.

Он был готов. Готов отдать все, чтобы его увидели. Чтобы его искусство стало великим. Чтобы наконец-то накормить зверя внутри.

Даже если платой будет его собственная душа.

Глава 3: Интеграция в новую среду

В телефоне мигало новое сообщение от Армена:

«Если у воды сегодня холодно – не иди. Река всегда холодная перед тем, как взять своё.»

Лео хотел ответить, но экран погас сам собой, будто кто-то уже принял решение за него.

Такси, воняющее бензином и чужими переживаниями, резко дернулось и замерло у кованых ворот, словно испугалось заходить дальше. Мотор захлебнулся и умолк, оставляя меня в оглушительной, давящей тишине. Я вышел, и бетон под ногами показался неестественно гладким и холодным, словно не тротуар, а путь в чужую, отполированную до блеска реальность. Воздух здесь пах иначе – не пылью и выхлопами с окраины, а цветами, свежескошенной травой и чем-то неуловимо водным, затхлым.

Вилла на левом берегу Дона возвышалась передо мной, ослепительная и нереальная. Стекло и бетон сливались в авангардную композицию, а белоснежная колоннада у входа выглядела насмешкой над моим прошлым. Она напоминала замок из тех глянцевых снов, которые никогда не снились в моей коммуналке на задворках города. Я вспомнил наши три комнаты на пятерых, вечный гул чужих голосов за тонкими перегородками, запах старого линолеума, тиши и одиночества, протекающую крышу, по которой стучал дождь. Это была моя правда – тесная, шумная, выпцветшая. А здесь... здесь было тихо. Слишком тихо. Тишина здесь была не отсутствием звука, а отдельной сущностью, живой и внимательной. Она давила на барабанные перепонки, заставляя сердце биться чаще, будто компенсируя недостающий шум.

Я стоял, вжав голову в плечи, с рюкзаком, где была вся моя жизнь – пара футболок, затертые джинсы, блокноты с эскизами и папка с фотографиями маминых работ. Зачем я вообще согласился? Вопрос жужжал в голове назойливой мухой. Три дня назад эта женщина подошла ко мне у метро, вынырнув из толпы, как призрак. Она представилась Маргаритой, владелицей престижной галереи. Сказала, что видела мои наброски, которые я иногда выкладывал в сеть. «Ты невероятно талантлив, – сказала она, и ее голос был тихим, но таким весомым, что перекрывал грохот поездов. – В тебе есть искра. Та самая. И я могу тебе помочь. Дать все: мастерскую, выставку, будущее». Слова об искусстве, о шансе, которого я ждал всю свою недолгую жизнь, звучали сладкой, манящей ложью. Но я был тем голодным псом, что готов проглотить даже кость с острыми осколками, лишь бы утолить пустоту внутри. Я проглотил ее предложение, не разжевывая.

Он стоял слишком спокойно. Этот покой был не от силы – от усталости. Внутри него больше не осталось протеста, только тихое принятие. Всё, что происходило, казалось справедливым.

– Добро пожаловать, Лео, – голос Маргариты прозвучал прямо у меня за спиной, заставив вздрогнуть всем телом.

Я обернулся. Она стояла в теперь уже открытых воротах, обрамленная золотистым светом угасающего солнца, словно сошла с рекламного билборда. Ее улыбка была безмятежной и широкой, будто она ждала меня целую вечность и вот наконец-то дождалась. Платье цвета речной глубины переливалось оттенками синего и искрами золота, повторяя игру света на воде.

Я лишь кивнул, сжимая ремень рюкзака так, что костяшки пальцев побелели. Я пытался скрыть дрожь в руках, предательскую слабость в коленях.

– Проходи, не стесняйся, – Маргарита плавным жестом пригласила меня внутрь, и ее движение было похоже на взмах крыла огромной, невидимой птицы.

Я сделал шаг, потом другой, оглянувшись на такси, которое уже разворачивалось, уезжая прочь. Оно оставляло меня здесь одного. Совсем одного. Словно лодку, отвязанную от берега и отданную на волю течения.

Дверь закрылась за моей спиной с тихим, но окончательным щелчком. Звук был таким финальным, что на мгновение мне показалось, будто это захлопнулась крышка гроба. Когда он пересёк порог, где-то внизу, под домом, тихо вздохнула река. На поверхности воды всплыл маленький пузырь – прозрачный, будто капля воздуха, вырвавшаяся из груди. Он лопнул беззвучно. И Лео не знал, что это был последний след его свободы.

Внутри вилла напоминала не жилой дом, а музей, тщательно вычищенный и стерильный. Музей, где каждый предмет – от абстрактной скульптуры из полированного металла до антикварного кресла с гнутыми ножками – был расставлен с безупречной, математической точностью. Здесь не было места случайностям, ничего лишнего, ни пылинки. Современное искусство, кричащее формами и цветами, соседствовало с молчаливой, древней мебелью, и это соседство рождало диссонанс, щекочущий нервы. Стены были сплошь увешаны картинами в тяжелых рамах. С некоторых на меня смотрели лица, написанные темными, потрескавшимися красками, – их глаза, пустые и знающие, будто следили за моим перемещением по залу.

Но больше всего поражал воздух. Он был густым, насыщенным. Пахнул дорогими свечами, воском для паркета и... чем-то еще. Чем-то сырым, прохладным, пряным. Словно в каменные стены впиталось дыхание реки, ее глубинная, илистая сущность. Я делал вдох, и этот запах заполнял легкие, становясь частью меня.

– Это место... оно особенное. «Почти живое», — сказала Маргарита, заметив мой напряженный, блуждающий взгляд. Она говорила мягко, но каждое слово падало на тишину с весом каменной глыбы. – Оно дышит. Слушает. Запоминает каждого, кто переступает его порог.

Я снова кивнул, пытаюсь изобразить на лице понимание, но внутри все сжималось в один тугой, испуганный комок. Жизнь в коммуналке, в постоянной борьбе за место под солнцем, научила меня с первого взгляда распознавать ловушки. Тысяча мелочей: слишком щедрое предложение, слишком внимательный незнакомец, слишком красивый, чтобы быть правдой, сон. Все это всегда, неизменно оборачивалось болью, разочарованием, предательством. Но здесь... здесь все было иначе. Я чувствовал не просто опасность. Я чувствовал голод. Голод этого места, этот ненасытный, древний тягучий голод, который, как мне вдруг страшно подумалось, возможно, был отражением моего собственного.

– Пойдем, я покажу тебе дом, – Маргарита взяла меня за руку.

Ее пальцы были удивительно прохладными и гладкими, как отполированная речная галька. От ее прикосновения по моей коже пробежала мелкая дрожь, не столько от страха, сколько от странного, противоестественного узнавания.

– Ты ведь уже бывал здесь, правда? – спросила она, и ее глаза, цвета речного омуты, впились в меня.

– Нет, – я покачал головой, но в тот же миг в памяти, как вспышка, возник обрывок чего-то невозможного: длинный, бесконечно тянущийся коридор с темным деревом стен, зовущий меня войти, углубиться, потеряться. Картинка была смазанной, как старая фотография, но ощущение – тревожное, щемящее – было кристально четким.

– Странно, – она улыбнулась, и в уголках ее губ заплясали тени, а в глазах мелькнуло что-то острое, недоброе, на мгновение сняв маску гостеприимства. – Мне казалось, ты должен помнить.

Мы прошли через просторную гостиную с панорамными окнами от пола до потолка. За ними медленно, величаво тек Дон. В этот час заката вода казалась густой, как расплавленный свинец, темной и непрозрачной, словно несла в своих глубинах что-то невероятно тяжелое и древнее. Я смотрел на нее и вспоминал мать. Ее последние дни в больничной палате, пропахшей смертью и антисептиком. Она лежала, худая, как тень, и шептала, уставившись в потолок мутными глазами, о тенях, что зовут ее из воды. «Они ждут и тебя, Лео, – выдыхала она, цепляясь своими высохшими пальцами за мою рубашку. – Они знают. Знают, что ты их кровь. Плоть от плоти». Я тогда отмахивался, списывал на жар и бред, на боль, разъедающую рассу-

док. Утешал себя, что это говорит болезнь, а не она. Но сейчас, глядя на эту черную, молчаливую воду, я впервые за долгое время не был в этом уверен.

– Ли уже приготовил ужин, – голос Маргариты вернул меня в реальность. Она провела меня в столовую, где посреди комнаты стоял огромный дубовый стол, накрытый на одну персону. – Он с нами не так давно, но уже стал неотъемлемой частью этого места. Превосходный повар.

Повар стоял у массивного кухонного острова, спиной ко мне, с сосредоточенным видом нарезая овощи длинным, отточенным ножом. Лезвие мерно стучало по разделочной доске, выбивая какой-то зловещий, размеренный ритм. Он обернулся. Высокий, поджарый, с короткой седой щеткой волос и пронзительными темными глазами, которые словно видели тебя насквозь. Он смутно напомнил мне кого-то, кого я возможно, видел в забытом кошмаре.

– Здравствуй, Лео, – он кивнул, и его лицо не дрогнуло, не выразило ни капли эмоций. Улыбки не последовало. – Я Ли. Из Харбина.

– Привет, – я сглотнул комок в горле и неуверенно опустился на стул.

Напряжение в комнате нарастало с каждой секундой, становясь почти осязаемым. Оно витало в воздухе, смешиваясь с запахом еды и все тем же затхлым духом воды.

– Ты знаешь, что реки в моей стране – это не просто вода? – заговорил Ли, снова повернувшись к доске. Его нож продолжал свое движение с гипнотической, пугающей точностью. – Они стражи. Стражи любви и смерти. Они хранят истории утонувших душ. Но они и голодны. Всегда голодны. Их нужно кормить воспоминаниями. Жертвами.

– Как и наша, – Маргарита коснулась моей руки, и я вздрогнул, будто меня ударило током. Ее прикосновение было ледяным. – Ты чувствуешь связь с этим домом, Лео? С этой рекой? Она ведь манит тебя, зовет твое сердце, твою кровь. Это твое наследие.

Я посмотрел в окно. Ночь окончательно вступила в свои права, и темная вода теперь отражала только бледный лик луны. В ее отражении на миг что-то шевельнулось – темное, бесформенное. Я моргнул – и там снова была лишь пустота.

– Это... притягивает, – выдохнул я, чувствуя, как язык заплетается. – И пугает одновременно.

Ли тихо засмеялся, но звук получился странным, дребезжащим, неестественным, будто кто-то проигрывал старую запись на замедленной скорости, искажая все частоты.

– Вода помнит все, – произнес он, и его слова повисли в воздухе, как приговор. – Все, что в нее когда-либо бросили. Все, что в ней утонуло. Даже то, что ты сам давно стараешься забыть.

Его фраза отозвалась во мне эхом маминых слов, и по спине пробежал ледяной пот.

После ужина, который я почти не тронул, Маргарита повела меня наверх, в мою комнату. Коридоры виллы казались бесконечно длинными и запутанными, гораздо длиннее, чем могло поместиться в ее пределах, если судить по фотографиям на сайте. Я пытался сосредоточиться, считать шаги, запоминать повороты – левая, потом правая, еще одна левая, – но вскоре я потерял счет и ориентацию. Стены, украшенные темными гобеленами, словно дышали, сдвигаясь и раздвигаясь. Лестница, ведущая на второй этаж, была отдельным испытанием. Я насчитал девять ступеней. На обратном пути, спускаясь за забытой в столовой салфеткой, их оказалось десять. Поднимаясь обратно, я сбился и насчитал одиннадцать. Я остановился, уперся ладонями в холодные перила, перевел дух и начал считать снова, медленно, вслух: «Один... два... три...». На сей раз их было восемь. Сердце заколотилось в паническом ритме.

– Это нормально, – обернулась Маргарита. Она стояла наверху, подсвеченная тусклым светом бра, и смотрела на меня сверху вниз. Ее лицо было в тени. – Не пугайся. Дом просто привыкает к тебе. Притирается. Как и ты привыкаешь к нему. Он изучает тебя.

– Я... я не понимаю, – пробормотал я, чувствуя, как мелкими каплями пот выступил на лбу и скатился по виску. – Это невозможно.

– Поймешь, – ее голос прозвучал как ласка, но в ней сквозила непоколебимая уверенность. – Все понимают, рано или поздно. Дом не оставляет выбора.

Она открыла тяжелую дубовую дверь и пропустила меня вперед.

Комната была просторной, почти пустой. Минимализм, доведенный до абсурда. Кровать, письменный стол, пустой шкаф, одно кресло у окна. Все стерильно, безлико, как в дорогом номере отеля, где никто не живет по-настоящему. Но запах... Запах здесь был гораздо сильнее, чем внизу. Концентрированный, густой аромат тины, речного ила, влажных камней и чего-то древнего, того, что долго пролежало на темном дне. Я подошел к окну. Оно выходило прямо на Дон. Ночная река была черным, бездонным полотном, непроницаемым и молчаливым.

И тогда я услышал.

Сначала это было похоже на шум в ушах от усталости. Затем на свист ветра в раме. Но через мгновение он оформился в четкий, неоспоримый звук.

Шепот.

Тихий, едва различимый, сиплый, словно пропущенный сквозь толщу воды.

«Лео...»

Я отпрянул от окна, как от раскаленной плиты. Сердце бешено застучало где-то в горле, перекрывая дыхание. Я обернулся к двери – Маргариты уже не было, но я знал, я чувствовал кожей спины – она наблюдает. И не только она. Сам дом смотрит на меня своими темными окнами-глазами, своим бездушным, живым интерьером.

Я лег в кровать, но сон не шел. Он боялся подойти ко мне в этом месте. Вместо него пришли воспоминания. Яркие, болезненные.

Мать. Больничная палата. Воздух, густой от запаха лекарств и угасания. Ее руки, худые, как иссохшие ветки, с синими прожилками, цеплялись за мою рубашку с силой, которой у нее не должно было быть.

Глаза, полные невыразимого ужаса, были широко раскрыты и смотрели куда-то сквозь меня, в иной мир. – Ты их плоть. Ты должен вернуться к ним.

– Мам, это просто река, – пытался я успокоить ее, сам с трудом сдерживая дрожь. – Просто вода. Это болезнь говорит. Все пройдет.

– Нет! – ее пальцы впились в меня с такой силой, что стало больно. – Это не просто река! Вода помнит все! Все, что в нее когда-либо бросили! Все, что утонуло в ней! Все, что ты сам так отчаянно хочешь забыть! Она не прощает забвения!

Тогда я отмахнулся. Счел это бредом, порожденным болью и страхом перед неизбежным. Сейчас, в этой тихой, пахнущей тиной комнате, я не был так уверен. Ее слова звучали пророчеством. Предупреждением, которое я проигнорировал.

Посреди ночи я проснулся от ощущения, что я не один.

Это было не постепенное прозрение, а мгновенное, животное знание. Кто-то стоит в комнате. Кто-то смотрит. Я замер, не шевелясь, боясь пошевелить даже веком. Дышать стало нечем – воздух загустел, стал тяжелым и влажным, словно вода уже заполнила мои легкие, и я медленно тону.

И тогда я почувствовал.

Прикосновение.

Чужие пальцы, холодные, влажные, скользкие, как водоросли, коснулись моего виска. Провели по щеке, оставляя за собой мокрый, холодный след. Скользнули вниз, по шее, к ключицам. Замерли на груди, прямо над бешено колотящимся сердцем. Прикосновение было невесомым, но невыносимым. От него стыла кровь.

– Ты почти дома, – прошелестел прямо над моим лицом голос. Тихий, булькающий, словно его обладатель только что поднялся со дна. Это был не голос Маргариты. Не низкий бархат Лия. Это был кто-то третий. Кто-то древний. Кто-то, пришедший из самой толщи темной воды за окном.

Я заставил себя открыть глаза.

В комнате царила крошечная тьма, но мои глаза уже привыкли. И я видел. Тень. Фигуру у окна, более густую, плотную и черную, чем вся окружающая темнота. Она не имела четких контуров, она колыхалась, словно под водой. И я знал – она смотрела на меня. Я не видел глаз, но чувствовал ее взгляд на себе – тяжелый, полный голода и ожидания.

И она улыбалась. Я не видел рта, но знал, что она улыбается. Это была улыбка без радости, улыбка рыбы, попавшей на крючок, или рыбака, тянущего свою добычу.

Утром я проснулся с ощущением, что провел всю ночь на дне реки. Все тело ломило, голова была тяжелой и ватной, в горле першило и саднило, словно я вдохнул не воздух, а жидкую, илистую воду. Я с трудом поднялся с кровати и побрел в ванную. Лицо в зеркале было бледным, осунувшимся, под глазами залегли темные, почти фиолетовые тени. Я включил воду, ледяную, и начал умываться, пытаясь смыть остатки кошмара, смыть это ощущение липкого, холодного прикосновения.

И в зеркале что-то мелькнуло.

Я замер, затаив дыхание. В отражении за моей спиной было не пустое пространство ванной. На миг проступило другое лицо. Бледное, изможденное, с огромными, полыми глазами, полными бездонной скорби. Мама. Ее губы, бескровные и потрескавшиеся, шевельнулись без звука.

«Они заберут тебя...» – прочитал я по ним. «Как забрали меня. Не сопротивляйся. Река всегда забирает свое».

С криком, вырвавшимся из самой глотки, я ударил по зеркалу кулаком. Хрустальный треск разорвал тишину. Стекло посыпалось в раковину, оставляя острые, зубастые осколки. По моим костяшкам тут же выступила алая кровь, смешавшись с каплями воды и сверкая на белоснежном фарфоре.

– Все в порядке? – раздался спокойный голос Маргариты за спиной.

Я вздрогнул и резко обернулся. Она стояла в дверном проеме, свежая и умиротворенная, словно только что вернулась с прогулки, а не стала свидетелем моей истерики.

– Да, – прохрипел я, стараясь не смотреть ей в глаза, и схватился за окровавленную руку. – Просто... зеркало. Я поскользнулся.

– Ничего страшного, – она вошла в ванную, не дожидаясь приглашения. Ее взгляд скользнул по осколкам, по крови, и в ее глазах не было ни удивления, ни беспокойства. Лишь легкое, почти научное любопытство. – Иногда зеркала показывают нам то, что мы не готовы или не хотим видеть. Но это не значит, что это неправда. Наоборот. Чаще всего именно так и бывает.

– Что вы имеете в виду? – я повернулся к ней, чувствуя, как гнев и страх смешиваются в коктейль у меня в груди. Сердце бешено колотилось.

– Ты и сам все прекрасно знаешь, Лео, – она подошла ближе. От нее пахло рекой – свежестью, тиной и глубокой, неподвижной водой. – Ты уже был здесь. Много-много раз. В своих снах. В своих кошмарах. В воспоминаниях, которые не принадлежат тебе, но живут в твоей крови. Ты просто... забыл. Забыл, как забывают плохой сон утром. Но дом помнит. Река помнит.

– Я никогда не был здесь раньше! – выкрикнул я, но мой протест прозвучал слабо, неубедительно. Потому что в голове, вопреки моей воле, уже крутились обрывки, всплывали ошметки памяти, которым не было места в моей биографии: тот самый бесконечный коридор, лестница с меняющимся числом ступеней, вкус тины на губах, чувство падения в холодную, темную пустоту.

– Память – штука очень хрупкая, – Маргарита мягко коснулась моей раненой руки. Ее пальцы были ледяными, и под их прикосновением боль странным образом притупилась, уступив место проникающему внутрь холоду. – Ее легко стереть. Или переписать. Особенно когда река решает, что пришло время забрать то, что принадлежит ей по праву.

Завтрак проходил в гнетущем, давящем молчании. Ли подавал омлет с травами, и его движения были плавными, выверенными, но абсолютно механическими, лишенными какой-либо человеческой теплоты. Он был похож на идеально отлаженный автомат, часть этого большого, живого механизма под названием «вилла». Иногда я ловил его быстрый, скользящий взгляд, и в глубине его темных глаз, казалось, читалось какое-то предупреждение, глухая тревога. Но что он мог сказать? Что я уже попал в ловушку, из которой нет выхода? Или он был таким же пленником, как и я?

– Сегодня я покажу тебе сад, – объявила Маргарита, наливая мне чай в новую, фарфоровую чашку. – Он особенно прекрасен в это время года. Ты ведь любишь сады, Лео?

Ее вопрос прозвучал как ловушка. Я посмотрел на чай. Он был темным, почти черным. И на его поверхности плавали крошечные, почти невидимые частицы чего-то темного, похожего на ил.

– Я... не уверен, – ответил я осторожно. – Я вырос в городе. У нас не было сада. Я никогда особо не задумывался о них.

– Правда? – она улыбнулась, и эта улыбка была полна тайного знания. Я понял, что попался. – А как же тот маленький садик у самой воды, заросший ивой? Тот, где мы с тобой впервые встретились? Ты тогда рисовал реку. Я стояла и смотрела, как твоя рука выводила линии на бумаге, и поняла, что ты особенный.

Холодная волна прокатилась по моей спине.

– Этого не было, – я с силой поставил чашку, и горячий чай расплескался по белоснежной скатерти, растекаясь темными, причудливыми пятнами, очень похожими на русло реки на карте. – Я никогда не видел вас до той встречи у метро! Это неправда!

– Как жаль, – Маргарита вздохнула с театральной грустью, словно разочарованная учительница, чей самый способный ученик не может выучить простейший урок. – Очень жаль, что ты так думаешь. Но не переживай. Память вернется. Она всегда возвращается. Рано или поздно. Вода вымывает все на поверхность.

Сад оказался самым странным местом во всей этой странной вилле. Он не был похож на обычный парк. Это было продолжение реки, ее воплощение в зелени и камне. Кусты и деревья были подстрижены в абстрактные, сюрреалистические формы – извивающиеся линии, повторяющие бег волн, спирали, закручивающиеся в водовороты, фигуры, напоминающие то ли русалок, то ли утопленников. Деревья, чьи ветви неестественно переплелись, образуя символы и знаки, которых я не знал, но которые наводили на меня смутную, древнюю тоску. И запах... Запах здесь был подавляющим. Густой, тяжелый аромат цветущей тины, влажной земли, гниющих на дне водорослей и чего-то древнего, того, что пролежало в иле тысячи лет.

– Красиво, правда? – Маргарита снова взяла меня за руку. Ее пальцы все так же оставались холодными. Она вела меня по извилистым, словно змея, дорожкам. – Дом любит тебя, Лео. Он любит тех, кто слышит зов реки. Кто откликается на него.

– Я не слышу никакого зова, – я попытался вырвать руку, но ее хватка оказалась неожиданно сильной. Она только рассмеялась – легкий, серебристый смех, который, однако, не нес в себе ни капли веселья.

– Все его слышат. Просто некоторые предпочитают закрывать уши и глаза. Но от себя не убежишь. От своей крови не спрячешься.

Мы вышли к небольшому пруду в самом центре сада. Вода в нем была абсолютно черной, маслянистой и неподвижной, как зеркало из обсидиана. В ней не отражалось ни небо, ни деревья. Я поневоле сделал шаг вперед, заглянул вглубь.

И увидел.

Не свое отражение. В темной воде, как на экране, возникло другое изображение. Мать. Но не та, которую я помнил – больная, изможденная. Нет. Она была молодой, прекрасной, полной жизни. Она стояла на берегу реки, на том самом, что был виден из окон виллы, и смотрела на

меня. И улыбалась. Но улыбка ее была печальной, прощальной. А за ее спиной, из самой толщи черной воды, поднимались, тянулись к ней темные, бесформенные тени. Десятки рук, щупалец, сплетений. Они обвивались вокруг ее ног, тащили ее вглубь, а она даже не сопротивлялась.

– Ты видишь? – Маргарита встала рядом со мной, ее плечо почти касалось моего. Ее голос стал низким, глухим, вибрирующим, словно сквозь нее говорила сама река, все миллионы тонн темной, холодной воды. – Она любила это место. Твоя мать. Она чувствовала его зов. И она знала. Знала, что однажды ты последуешь за ней. Что река заберет тебя, как забрала ее. Заберет, потому что ты принадлежишь ей. По праву крови. По праву памяти.

Я попытался отступить, сделать шаг назад, но мои ноги будто приросли к земле, стали тяжелыми, как свинец. Ужас, холодный и бездонный, сковал меня.

Когда я вернулся в свою комнату, солнце уже клонилось к закату, окрашивая небо и реку в багровые, болезненные тона. Я сел у окна, не включая свет, и просто смотрел на Дон. Вода, окрашенная закатом, казалась теперь не черной, а кровавой. Она манила. Нежно и настойчиво. Она была как та самая сладкая ложь, что привела меня сюда. Я знал, что не должен поддаваться, что должен бороться, бежать, кричать.

Но внутри меня росло и крепло то самое чувство, что в итоге и привело меня сюда. Не надежда. Не мечта о искусстве. Нет.

Голод.

Нет, не физический. Внутренний. Глубинный, древний, как сама река. Тоска по чему-то, чего я не мог определить. Ощущение пустоты, которую я всю свою жизнь тщетно пытался заполнить – рисованием, музыкой, книгами, мечтами о другом будущем. Все это было лишь слабой, жалкой попыткой заткнуть дыру в собственной душе. А здесь... здесь, в этом странном, живом доме на берегу, я чувствовал, что эта пустота наконец-то может быть заполнена. Насыщена. Утолена.

Но какой ценой?

Я закрыл глаза и позволил воображению сделать тот последний шаг. Я представил, как вхожу в воду. Сначала холод обжигает кожу, заставляя сердце бешено колотиться. Потом тело немеет, и холод становится привычным, почти родным. Течение обвивает ноги, нежное и властное, как объятия давно потерянной любви. Оно тянет вглубь, туда, где тихо, темно и покойно. И тогда приходит последнее, главное ощущение – облегчение. Всепоглощающее, абсолютное. Больше не нужно бороться. Не нужно притворяться сильным. Не нужно бежать от самого себя. Можно просто перестать существовать, позволив воде принять себя, забрать, как она когда-то забрала мать. Вернуться домой.

– Не сейчас, – с огромным усилием я заставил себя открыть глаза и прошептал это в наступающие сумерки. Голос мой был слабым и чужим. – Еще не сейчас.

Но я знал. Это был лишь вопрос времени. Не часов или дней. Возможно, минут.

Вилла ждала. Ее стены дышали в такт моему сердцу.

Река ждала. Ее черная вода шептала мое имя.

И я, в самой глубине своей души, в той самой пустоте, что требовала насыщения, тоже ждал этого момента.

Потому что где-то внутри я уже смирился с простой, ужасной правдой.

Я не уплыву. Я вернусь.

Потому что эта вода – моя вода.

Эти тени – мои тени.

И этот голод... этот ненасытный, древний голод – он всегда был только моим.

Глава 4: Иловые Сны: Рождение Парной Души

Ночь не была отсутствием сознания; она была иной формой существования, погружением в иную, более плотную реальность. Я не плыл и не летел – я тонул. Тонул медленно, неотвратно, как камень, облепленный вязким илом, в реке, которой не было за окном моей новой комнаты. Эта вода была жиже крови и гуще земли, темнее самой чёрной туши и при этом живой, пульсирующей, мыслящей. Она обволакивала меня не снаружи, а изнутри, просачиваясь сквозь поры, заполняя лёгкие тяжёлой, сладковатой влагой, превращая мою кровь в мутную донную взвесь.

Тени двигались в глубине. Они не были просто отсутствием света – это были существа из самой гущи, из подводных омутов. Они тянулись из глоточной темноты, холодными, скользкими щупальцами обвивая запястья, лодыжки, шею, с неумолимой силой втягивая меня вниз, к самому сердцу Дона, туда, где не было ни света, ни звука, ни времени. Я пытался крикнуть, но вода уже была у меня в глотке, и мой голос распался на тихие, предательские пузыри, на шепот, сложенный из голосов тех, кто утонул здесь до меня, чьи души теперь стали частью этой вечной жажды. Где-то далеко, за стеной сна, прозвенел будильник. Или это билось собственное сердце – не различить.

Я вырвался из сна с криком, захлебнувшись воздухом. Простыня под спиной была мокрой, ворот рубашки прилип к коже. Вкус ила стоял во рту, как будто я действительно глотнул речной воды. Мир вокруг был тих и неподвижен, но что-то во мне всё ещё тянулось вниз, туда, где шевелились тени.

В самой глубине мутной воды мелькнуло лицо – не призрак, не отражение. Женский силуэт, неподвижный, как статуя, наблюдал за мной сквозь толщу ила. И я узнал в нём её – Маргариту. Её глаза были открыты и недвижимы, но я чувствовал – она знает, где я, и ждёт.

На самой границе сна и яви я ощутил – там, в темноте, дышит кто-то ещё. Не враг и не отражение. Кто-то, чьё дыхание сливалось с моим в один ритм. Два голоса в одной воде.

Словно парализованный, я заставил себя двинуться. Дрожащие, ватные ноги спустились с кровати, пальцы нащупали на стене шершавые обои, а затем – гладкую, холодную пластмассу выключателя. Щелчок прозвучал как выстрел. Свет, резкий и беспощадный, залил комнату, ослепив меня. Я зажмурился, а когда открыл глаза, тени не было. Лишь тяжелая портьера, неподвижно висящая у стекла. Но ощущение наблюдения не исчезло. Оно лишь отступило на шаг, в угол, за пределы прямого зрения, но осталось в комнате, смешавшись с воздухом, которым я дышал.

Я подошел к раковине, чтобы умыться, и заметил на запястье след. Не царапину, не синяк. Тонкую, едва заметную линию, словно кто-то провел по коже тончайшей кистью, обмакнутой не в краску, а в пепел, в речной ил. Я провел по ней подушечкой пальца, ожидая, что она смажется, но случилось обратное. Линия проступила четче, темнее, и вокруг нее стали проявляться другие – изгибы, тени. Я вгляделся, и холодный комок снова застрял у меня в горле. Это был контур. Контур человеческого лица, незнакомого, угловатого, но в то же время до жути знакомого. Мое собственное отражение, увиденное в черной, неподвижной воде. Отпечаток.

Утро встретило меня призрачным, обманчивым спокойствием и густым, многослойным запахом, в котором сплетались свежесваренный кофе, запах старого дерева и всепроникающий, устойчивый аромат тины, влажной земли и чего-то еще, сладковатого и гниlostного, что я научился ассоциировать с рекой. Я спускался вниз по скрипучей лестнице, и мне казалось, что каждая ступенька под моими босыми ногами живет своей жизнью – то проседала глубже, то становилась выше. Я машинально считал их, пытаясь зацепиться за что-то простое и реальное. Девять. Десять. Одиннадцать. На двенадцатой я сбился и понял, что это бессмысленно. Этот дом не подчинялся простой арифметике. Он жил по своим законам.

– Доброе утро, Лео. – Голос Ли прозвучал прямо над моим ухом, хотя я не слышал его шагов. Он стоял у массивной плиты, и его движения были гипнотически плавными, текучими, лишенными всякой суеты. Он не готовил – он совершал некий ритуал. – Ты плохо спал. Это не вопрос.

Это было утверждение. Я лишь кивнул, опускаясь на стул с высокой спинкой, который показался мне на мгновение тронем из черного, отполированного водой дерева. Голова гудела и тяжелела, будто черепную коробку набили мокрым речным песком. В висках стучало, и за каждым ударом пульса вспыхивало изображение из сна – щупальца теней, бездна, молчаливые пузыри.

– Вода не любит тех, кто сопротивляется, – без всякого перехода произнес Ли, ставя передо мной глиняную чашку с дымящимся кофе. Его голос был ровным, почти ласковым, но в словах сквозила ледяная неизбежность. Я заглянул в чашку и почувствовал, как по спине пробегают мурашки. Среди темных кофейных крупинок плавали, сверкая на свету, крошечные, почти невесомые частицы ила. – Она забирает постепенно. Не спеша. Со вкусом. Сначала сны... Потом память... Потом само желание быть кем-то, кроме нее. Потом душу.

– Что вы... что вы имеете в виду? – выдохнул я, уже зная ответ на физиологическом, клеточном уровне. Голод. Тот самый голод, о котором говорила Маргарита. Он был во мне. Не метафора, а реальное ощущение пустоты, холодной и ненасытной, где-то в районе солнечного сплетения.

– Ты прекрасно понимаешь, мальчик, – он улыбнулся, но улыбка не дошла до его глаз, плоских и темных, как галька на дне. – Ты уже чувствуешь голод. Он проснулся вместе с тобой. И он будет только расти.

Маргарита появилась бесшумно, как будто вырастала из самой тени под огромным буфетом. Ее платье шелестело о пол, и этот звук был похож на шепот тростника на ночном берегу.

– Сегодня ты начнешь работу, Лео, – объявила она, и ее тонкие, холодные пальцы коснулись моего плеча. Прикосновение было легким, но я почувствовал его всем телом, как удар током. – Студия ждет. Она соскучилась по тебе.

Студия оказалась на чердаке, под самой крутой, покатой крышей, которая напоминала свод древнего храма или череп гигантского животного. Большие, пыльные окна, почти от пола до потолка, выходили на Дон, и предзакатное солнце заливало пространство золотым, густым, почти осязаемым светом, превращая миллиарды кружащих в воздухе пылинок в танцующие золотые искры. Повсюду стояли холсты – чистые и уже тронутые кистью, мольберты разных размеров, словно голые деревья в странном лесу, банки с кистями, тюбики с красками, палитры, заляпанные застывшими воспоминаниями о других картинах. Все было расставлено с той же математической, пугающей точностью, что и в остальной части виллы, но здесь, в этом святилище, чувствовалось нечто иное. Напряжение. Ожидание. Жизнь. Или, может быть, тот самый голод, о котором все говорили. Он витал в воздухе, смешиваясь с запахом скипидара, льняного масла и старой древесины.

Я подошел к самому большому мольберту, стоявшему в центре комнаты, прямо в луче света, как к алтарю. Мои пальцы дрожали, и я сжал их в кулаки, пытаясь скрыть слабость. Но как только я взял в руки длинную, ухватистую кисть с грубой щетиной, дрожь прошла. Ее сменила странная, теплая уверенность. Я выбрал тюбик – синяя ФЦ, самая глубокая, какая у них была, – и выдавил на палитру густую, бархатистую лепешку. Добавил черной, не угольной, а именно черной краски, густой как смола, и каплю серебряной, которая заблестела на свету, как чешуя крупной рыбы.

И вот, щетина коснулась холста. И случилось оно.

Облегчение. Столь же стремительное, сколь и всепоглощающее. Это было похоже на первый глоток воды после долгой, изматывающей жажды. Но не воды из-под крана – а той самой, речной, прохладной, несущей в себе забытые вкусы детства и что-то еще, древнее и могучее. Я

вел кистью, и река оживала под ней. Не та спокойная, величественная река, что была за окном, а та, что бушевала во мне. Темная, глубокая, бесконечная, полная шепотов и обещаний.

С каждым мазком, с каждым новым оттенком, рожденным на палитре, я чувствовал, как что-то внутри меня раскрывается, расправляет лепестки, как какой-то диковинный подводный цветок. Это было больше, чем просто творчество, больше, чем самовыражение. Это было возвращение. Ощущение дежавю было настолько сильным, что перехватывало дыхание. Как будто эти линии, эти изгибы, эти тени уже были где-то в глубине моей памяти, в моих мышцах, в самой структуре моих костей, и я теперь не рисовал, а лишь высвобождал их на волю, как высвобождают птицу из клетки. Эйфория поднималась во мне, как прилив, горячая и сладкая, затмевая страх, стирая усталость бессонной ночи. Я чувствовал себя невероятно бодрым, живым, настоящим. Таким я не чувствовал себя никогда.

Но где-то на самом дне этого захватывающего дух восторга, в самых темных и холодных его уголках, шевелилось, пугая своим спокойствием, маленькое, трезвое предупреждение. Это не просто искусство. Это сделка. Торговля с тем, что прячется на дне. Каждый взмах кисти, каждый мазок – это кусочек меня, моей памяти, моей души, который я отдаю реке в обмен на это опьяняющее чувство могущества и принадлежности.

Я не заметил, как прошел день. Солнце уже катилось к горизонту, окрашивая воду в багровые и золотые тона, а я все стоял перед холстом, впившись в него глазами, с кистью в онемевших от напряжения пальцах. На полотне из хаоса мазков уже проступал четкий силуэт – женщина на берегу. Ее длинные волосы сливались с струящейся водой, а платье словно растворялось в сумерках. Но самое страшное было не в ней, а за ее спиной. Из глубины, из темной воды, тянулись к ней длинные, бесформенные тени, больше похожие на щупальца или на руки утопленников, жаждущих зацепиться за что-то живое.

– Ты рисуешь ее.

Голос за моей спиной прозвучал так неожиданно, что я вздрогнул всем телом и едва не уронил палитру. Сердце бешено заколотилось, ударяя по ребрам.

Я обернулся. В дверях стояла девушка. Лет семнадцати, не больше. Короткая, темная стрижка, открывающая изящную шею и большие, очень большие глаза цвета донской воды в пасмурный день – серо-зеленые, с золотистыми искорками. В одной руке она держала ведро, в другой – тряпку. Но это была не просто уборщица. Это было ясно с первого взгляда. Во всей ее позе, в прямом взгляде, в том, как она смотрела не на меня, а на картину, было что-то неуловимо знакомое. Тот же самый голод. Тот же самый отблеск глубины в глазах.

– Кто? – сорвался у меня хриплый шепот, и я инстинктивно отступил от холста, заслоняя его собой, как будто пойманный на чем-то постыдном.

– Мать, – сказала она просто и вошла в студию, не дожидаясь приглашения. Ее движения были легкими, почти невесомыми. – Ты рисуешь свою мать. Ты не помнишь ее лицо, но твои руки помнят. Река помнит.

Я хотел снова покачать головой, сказать, что это не так, что это просто плод моего воображения, но слова застряли в горле комом. Потому что она была права. Болевая точка, старая, как я сам, в глубине души содрогнулась и подтвердила это.

– Меня зовут Кира, – она поставила ведро в угол, и оно не издало ни звука. – Я убираюсь здесь. Иногда. Но я тоже рисую.

– Ты... ты видишь, что я нарисовал? – с трудом выдавил я, указывая кистью на холст. – Ты видишь ее?

– Конечно, вижу, – она подошла ближе, и я почувствовал странное биение в висках – не страх, а что-то иное, тревожное и притягательное. – Я вижу ее каждый день. В зеркале. В оконном стекле, когда идет дождь. В воде. Во сне. Она ко мне приходит. И к тебе пришла.

Мы сидели на скрипучих полуразобранных ящиках у большого окна, пока солнце окончательно не скрылось за линией горизонта, уступая место густым, бархатным сумеркам.

Последние лучи цеплялись за верхушки дальних деревьев, а потом и они погасли. Кира достала из кармана своего простенького фартука потрепанный, заляпанный краской блокнот в клеенчатой обложке и молча протянула мне.

Я открыл его. И у меня перехватило дыхание.

На страницах, одна за другой, жили одни и те же образы. Та же женщина у реки. Те же тени, тянущиеся из воды. Силуэты, проступающие из глубины, размытые, почти абстрактные, но оттого еще более жуткие. Те же самые сюжеты, те же композиции, что рождались сегодня под моей кистью. Только почерк был иным – более нервным, более угловатым, более отчаянным.

– Откуда ты знаешь? – прошептал я, листая страницу за страницей, и с каждой новой картинкой холод в моей груди сжимался туже. – Как они тебе... являются?

– Я не знаю, – она пожала плечами, но ее взгляд был прикован к блокноту в моих руках, и в ее глазах мелькнуло что-то сложное – то ли боль, то ли гордость. – Просто сажусь и рисую. Как будто... как будто кто-то внутри меня диктует. Шепчет линии, подсказывает цвета. Сначала это был просто зуд в кончиках пальцев. Потом – сны. А теперь... теперь я просто беру карандаш, и оно рисуется само. Как у тебя.

– Маргарита... она сказала, что я уже был здесь, – я смотрел на свои руки, на все тот же нестираемый след на запястье. – Что я что-то забыл. Что-то очень важное.

– Все здесь что-то забывают, – Кира улыбнулась, но улыбка получилась кривой, горькой. – Память – это первое, что забирает река. Самое вкусное, наверное. Или самое ненужное для тех, кто должен ей служить.

– Почему ты здесь? – спросил я, вглядываясь в ее лицо, в эти удивительные, слишком взрослые для ее возраста глаза. – Ты ведь не просто уборщица? Ты художник?

– Я убираюсь, – она тихо засмеялась, и смех прозвучал как звон разбитого стекла. – Подметаю, вытираю пыль. Но да. У меня есть талант. Как и у тебя. И это... это делает нас особенными. Избранными.

– Для кого? – я почувствовал, как эйфория от рисования окончательно улетучивается, и на ее место возвращается холодный, липкий страх.

– Для нее, – Кира кивнула в сторону двери, и мне на мгновение показалось, что в щели между косяком и полотном мелькнула тень, скользкая и быстрая. – Для Маргариты. Для реки. Для тех, кто живет в воде и ждет, когда мы их нарисуем. Когда мы дадим им форму.

После ухода Кире в студии повисла странная, звенящая тишина, будто после чьего-то визита осталось не просто пустое место, а отрицание шума. Ее присутствие, ее слова, ее рисунки витали в воздухе, смешиваясь с запахом краски, становясь частью общего наваждения.

Я снова взял кисть. Мне нужно было закончить, докончить этот образ, вытащить его из себя целиком, чтобы он перестал меня мучить. И эйфория вернулась, почти мгновенно, накатывая волной, смывая сомнения и страхи. Я смешивал краски, и они сливались сами, рождая невозможные, невиданные мной ранее оттенки – синий с искрами настоящего серебра, черный с проблесками глубинного золота, багровый, как закат на крови. Река на холсте становилась все реальнее, все глубже, она словно засасывала взгляд, втягивала в свою пучину.

Но чем дольше я работал, тем сильнее становилось жуткое, неумолимое ощущение, что это не я управляю процессом. Что мои руки двигаются сами по себе, повинаясь чьей-то чужой воле, как руки марионетки. Что я – всего лишь инструмент, проводник, рупор для чего-то древнего и голодного, что использует меня, чтобы проявиться в этом мире. Я посмотрел на свое запястье – и кровь застыла в жилах. Тонкая линия, бывшая до этого просто бледным контуром, теперь проявилась ярко, став темнее, четче. Она обрастала сложными, витиеватыми узорами, ответвлениями, завитками. Словно сама река выписывала на моей коже свою историю, свою карту, свою метку.

И тогда я услышал.

Сначала это был едва различимый звук, который можно было принять за скрип старых половиц или шорох мыши за плинтусом. Но нет. Это было тихое, настойчивое царапанье. Оно шло отовсюду сразу – со стен, с потолка, из-под пола, даже с самого холста, будто кто-то скребся изнутри картины, пытаясь выйти наружу. Я замер, затаив дыхание, стараясь понять, откуда именно. Звук нарастал, становился громче, настойчивее, злее. Казалось, что сейчас когти пробыют дерево и гипс.

Я резко обернулся, сканируя взглядом комнату. Студия была пуста. Только картины смотрели на меня с тенями в глазах. Царапанье не прекращалось.

Сердце бешено колотилось. Я подошел к большому окну и уперся лбом в холодное стекло, глядя на Дон. Внизу вода была уже черной, неподвижной, как расплавленный обсидиан. Но в ее темной глади, в отражении луны, что-то шевельнулось. Не одно что-то. Много. Тени. Десятки, сотни бледных, размытых силуэтов. Они медленно поднимались из глубины, поворачивались ко мне своими безликими головами, и я почувствовал, как они смотрят. Они тянули к стеклу, к мне, руки-щупальца, безмолвно зовя, заманивая, обещая.

Я в ужасе отпрянул от окна, споткнулся о табурет и едва не упал. И в этот момент мой взгляд упал на угол комнаты, задрапированный темной тканью. То, что я принял за еще один мольберт под покрывалом, оказалось иконой. Простая деревянная рама, потемневшая от времени, а в ней – строгий лик святого, написанный в старой, византийской манере. Я не замечал ее раньше, она была скрыта. Но сейчас... сейчас его глаза, темные, почти полностью скрытые под тяжелыми веками, были прикованы ко мне. И я не сомневался ни секунды – они следят. Следят за каждым моим движением, за каждым вздохом.

– Ты видишь? – Голос прозвучал прямо у моего уха.

Я взвизгнул от неожиданности и отпрыгнул в сторону. Кира стояла в дверях, бледная, серьезная. Она словно почувствовала пик моего ужаса, как животное чувствует грозу.

– Икона... – я сглотнул комок в горле и дрожащей рукой указал в угол. – Она смотрит. Она живая.

– Конечно, смотрит, – Кира вошла и без тени страха подошла к темному углу. Она не смотрела на образ, а скорее ощупывала его своим присутствием. – Все здесь смотрит. Стены смотрят. Вода в стакане смотрит. Воздух помнит каждый наш вздох. Здесь ничего не забывается. Ничто не остается незамеченным.

– Что происходит, Кира? – голос мой сорвался на шепот. Голова кружилась от дикой смеси усталости, остатков эйфории и накатывающей паники. – Что это за место? Что оно со мной делает?

– Оно делает тебя частью себя, – она повернулась ко мне, и в ее глазах не было ни страха, ни утешения. Была лишь усталая приятность. – Как оно сделало частью себя меня. Как оно сделало частью себя всех, кто жил, дышал и рисовал в этих стенах до нас. Мы – кисти в руках этого дома. В руках реки.

– Почему я не могу вспомнить? – почти взмолился я, сжимая голову руками, ощущая под пальцами тот самый узор на запястье, который, казалось, теперь пульсировал в такт моему сердцу.

– Потому что река не хочет, чтобы ты вспоминал, – ее голос стал тише, и она сделала шаг ко мне. – Память – это сила. Она боится нашей памяти. Она хочет, чтобы мы были чистыми листами, которые она может заполнить собой.

Она подошла вплотную и подняла голову, чтобы посмотреть мне в глаза. И тут я увидел. По-настоящему увидел. В ее серо-зеленых, слишком больших глазах, в самой их глубине, плавали крошечные точки света. Как бледные, далекие звезды, видимые сквозь толщу темной воды. Точки. Как те, что я видел в глазах Маргариты. Как те, что, я подозревал, были теперь и в моих собственных.

– Но я вижу их, – прошептала она, не отводя взгляда. – Твои «точки» ... они такие же, как мои. Мы связаны. Как два зеркала, поставленные друг напротив друга, мы отражаем одну и ту же пустоту. Один и тот же голод.

– Ты отражаешь мой голод... – мои губы едва шевельнулись, – и мою надежду.

И в этот миг я понял, что это – чистая правда. В ее глазах я видел не просто свое отражение. Я видел свою суть. Ту, что скрыта под слоями страха, забвения, социальных условностей. Ту темную, голодную, жаждущую часть, что тянулась к реке и одновременно ужасалась ее.

В памяти, как обломок разбитого корабля, всплыл обрывок из самого раннего детства. Что-то, что я всегда считал бредом, сказкой для слишком впечатлительного ребенка.

– Моя мать... она говорила о близнецах душ, – начал я медленно, слова давались с трудом, будто я доставал их со дна той самой реки. – Не о любви. Не о родственных душах. А именно о близнецах. Она говорила, что некоторые души рождаются в реке парами. Одна – для света, одна – для тени. Одна – для берега, одна – для глубины. И они всю жизнь ищут друг друга, потому что только вместе они составляют целое.

– И мы... – начала Кира и замолчала, но я увидел в ее глазах понимание. И страх. И надежду.

– Мы две половинки одной души, – закончил я за нее, и от этих слов по коже побежали мурашки. – Разделенные рекой. И она свела нас здесь. Или это сделала Маргарита.

Мы сидели в полной темноте, пока луна поднималась над гладью Дона, окрашивая ее в серебристо-мертвенные тона. Царапанье за стенами постепенно стихло, но я знал – это затишье. Оно вернется. Икона в углу все так же смотрела на нас своим невидящим-всевидающим взглядом, но теперь он казался мне не столько угрожающим, сколько... оценивающим. Как будто древний страж одобрял наше открытие, нашу встречу.

– Почему? – прошептал я, глядя на смутный профиль Киры в темноте. – Почему Маргарита привела меня именно сюда? Почему мы обе оказались в этом месте?

– Потому что мы голодны, – ее пальцы легли на мое запястье, на сложный узор, и прикосновение было прохладным и успокаивающим. – Не так, как все. Мы голодны по чему-то большему. По смыслу. По памяти. По истине. Река чувствует этот голод. Она его вскармливает. Она кормит тех, кто может взять ее краски и нарисовать ее историю. Ее утонувших детей. Ее тайны.

– А что будет, когда мы нарисует все? – спросил я, уже зная, что ответ меня ужаснет.

– Тогда река заберет нас, – Кира улыбнулась, и в свете луны я увидел, как на ее ресницах блеснули слезы. – Как она забрала тех, кто был до нас. Чтобы мы стали частью ее легенды. Частью того, что будут рисовать следующие голодные души.

Ночью я снова погрузился в воду. Но на этот раз все было иначе. Я не сопротивлялся. Я не пытался бороться с течением, вырваться из объятий тенистых щупалец. Я позволил им обвить себя, позволил ледяной воде заполнить легкие, и это ощущение было не удушающим, а... обволакивающим. Принимающим. И в этой добровольной тьме, в этой бездне, я увидел.

Не кошмар. Воспоминание. Четкое, ясное, как наяву.

Мать. Она стоит на самом краю крутого берега, ее лицо обращено ко мне, и оно не искажено ужасом, а спокойно и печально. Ее руки протянуты не в жесте мольбы, а в жесте благословения, прощания. И за ее спиной – те самые тени из моих картин, из картин Киры. Но они не тянутся к ней, чтобы утащить. Они окружают ее, как верная стража, как часть ее самой. И я слышу ее голос. Не шепот, а ясный, чистый, абсолютно реальный голос, который звучит не в ушах, а прямо в моем сознании:

– Лео, мой мальчик. Если ты когда-нибудь вернешься к реке, если она позовет тебя, и ты почувствуешь ее зов в своей крови – ищи свою пару. Ищи свою вторую половинку, свою тень или свой свет. Две души, соединенные вместе, сильнее ее голода. Вы сможете противостоять течению. Вы сможете остаться на берегу. Помни это.

Я проснулся. На этот раз крик вырвался из моей груди настоящий, громкий, раздирающий гортань. Он прозвучал в тишине комнаты и замер, прижатый к стенам. В окно уже струился бледный, молочный свет зари. Я сорвался с кровати, подбежал к окну и распахнул его. Утренний воздух был холодным и свежим, пах дымком и рекой. Вода внизу все так же манила, звала, сулила забвение. Но теперь я смотрел на нее иначе. Потому что я знал – я не один.

Я нашел Киру в саду, у старого, заросшего ряской пруда, в котором неподвижно отражалось серое утреннее небо. Она сидела на корточках на самом краю каменной кладки и что-то быстро и яростно рисовала в своем вечном блокноте.

– Ты тоже видела, – сказала она, не оборачиваясь, словно чувствуя мое приближение на спине. Ее пальцы не остановились.

– Да, – я сел рядом на холодный камень. Вода в пруду пахла иначе, чем Дон – затхлее, старше. – Мать. Она говорила о парных душах. Она знала.

– Она знала, – Кира захлопнула блокнот и наконец посмотрела на меня. Ее глаза были уставшими, но в них горел какой-то новый огонь. – Они все знают. Маргарита, Ли... все, кто здесь живет. Но никто не говорит об этом вслух. Потому что река не любит, когда о ней говорят. Она любит, когда о ней молчат. И рисуют.

– Что мы будем делать? – спросил я, глядя на ее бледное, серьезное лицо.

– То, для чего мы здесь, – она слегка улыбнулась. – Рисовать. Вспоминать. По кусочкам, по крупицам, отвоевывать свою память у воды. И не позволить реке забрать нас полностью. Противостоять. Вдвоем.

– А если... если не получится? – живой голод внутри, тот самый, о котором говорили, пошевелился, напоминая о себе холодным сосанием под ложечкой.

– Тогда мы уйдем вместе, – ее рука легла поверх моей. Ее пальцы были холодными, но крепкими. – Но не как жертвы, не как затопленные души. А как те, кто сделал свой выбор. Кто предпочел исчезнуть целиком, чем остаться половинкой.

Вернувшись в студию, я снова взял в руки кисть. Эйфория накатила снова, знакомая и сладкая, но теперь я знал ее истинную цену. Каждый мазок – это кусочек меня, отданный на алтарь этого места. Но теперь это знание не было парализующим. Потому что я был не один. Я чувствовал Киру рядом, даже когда ее не было в комнате. Я чувствовал отзвук ее пульса в своих венах, эхо ее дыхания в своих легких. Мы были двумя зеркалами, и наше отражение уходило в бесконечность, силясь, сопротивляясь.

Я не стал рисовать женщину у реки. Я смешал краски и начал выводить на холсте две фигуры. Два человека – юношу и девушку. Они стояли не к воде спиной и не лицом к ней. Они стояли друг к другу, плечом к плечу, их руки были крепко сцеплены в замок, а лица были обращены к зрителю, к мне. И за их спинами бушевала река, из ее глубины тянулись тени, но теперь они не выглядели угрожающе. Они были частью пейзажа, частью фона. Они не тянулись к фигурам – они были от них отделены. Эти двое смотрели вперед, и в их глазах (я выписал их особенно тщательно, добавив те самые звездные точки) был не ужас, а вызов. Решимость.

Когда я закончил, солнце уже садилось, окрашивая студию в багровые тона. Я отступил от холста, чтобы взглянуть на работу целиком, и почувствовал странную, горьковатую победу. Затем я взглянул на свое запястье.

Узор изменился. Он стал сложнее, витиеватее, но теперь это был не просто хаотичный клубок линий. В нем угадывалась симметрия, закономерность. И я понял. Я посмотрел на Киру, которая как раз стояла на пороге. Она молча протянула свою руку. На ее запястье, на том же месте, был выведен абсолютно идентичный узор, только в зеркальном отражении. Две половинки одного целого. Печать.

– Мы начали, – прошептал я, и где-то в глубине дома, внизу, громко, с упреком, скрипнула дверь. Маргарита знала. Река знала. Игра, о правилах которой мы только догадывались, началась по-настоящему.

Но теперь у меня был союзник. Не просто попутчик в беде, а часть меня самого. И впервые за все время, проведенное в этом проклятом месте, я почувствовал не просто инстинктивную жажду выживания. Я почувствовал, что у нас есть шанс. Что мы можем победить. Или, по крайней мере, наша борьба будет не напрасной.

Потому что голод – вечен. Он всегда будет частью этого места, частью нас. Но теперь я знал – голод можно разделить. Его можно обратить в искусство. И, возможно, его можно перехитрить.

Глава 5: Метроном Судьбы: Живые Холсты

Я проснулся с ощущением, будто мир залит густым, тягучим сиропом. Воздух был неподвижен и тяжёл, дышать им было трудно, словно лёгкие наполнялись мутной водой. По коже бежали мурашки, и под ними что-то шевелилось, будто за стеной комнаты дышало само русло реки.

Я посмотрел на часы. Стрелки застыли на 3:33.

Три часа тридцать три минуты. Три. Три. Три.

Мама называла это «дыханием реки». «Когда стрелки сходятся в тройку, – говорила она, – река делает вдох, задерживает дыхание и выдыхает. Кто услышит этот ритм, уже не сможет его забыть».

В доме было тихо, но в тишине шёл другой звук – лёгкий, едва различимый стук, будто кто-то босыми ногами проходил по коридору. Тень мелькнула у двери, и я подумал, что дом живёт своей жизнью.

Я поднялся. Воздух был густой, как пар над водой. От стен исходило слабое дыхание – будто дом выдыхал вместе со мной. На мгновение я подумал, что слышу, как кто-то рядом шепчет моё имя, но звук растворился в тяжёлом запахе сырости и старой краски.

Узор изменился. Он стал сложнее, витиеватее, но теперь это был не просто хаотичный клубок линий. В нём угадывалась симметрия, закономерность. Он не удивил – только почувствовал, что наконец увидел то, что давно знал. Не открытие, а воспоминание, вернувшееся из глубины крови. И я понял. Я посмотрел на Киру, которая стояла на пороге. Она молча протянула руку. На её запястье, на том же месте, был выведен абсолютно идентичный узор, только в зеркальном отражении. Две половинки одного целого. Печать.

Где-то внизу, под полом, протяжно вздохнула вода. Я понял – Маргарита чувствует это. Река чувствует. Мы нарушили равновесие.

– Мы начали, – прошептал я, и где-то в глубине дома, внизу, громко, с упрёком, скрипнула дверь. Маргарита знала. Река знала. Игра, о правилах которой мы только догадывались, началась по-настоящему.

Но теперь у меня был союзник. Не просто попутчик в беде, а часть меня самого. И впервые за всё время, проведённое в этом проклятом месте, я почувствовал не просто инстинктивную жажду выживания. Я почувствовал, что у нас есть шанс. Что мы можем победить. Или, по крайней мере, наша борьба будет не напрасной.

Потому что голод – вечен. Он был частью нас, как вода – частью Дона. Но теперь я знал: если его нельзя утолить, его можно направить. И, возможно, обмануть.

Дон лежал внизу черным, маслянисто-блестящим полотном. Он не тек. Он лежал. Могучий, древний, неподвижный. И в этой неподвижности что-то двигалось. Не тени, не игра света. Что-то живое. Что-то большое. Не всплеск рыбы, не рябь от ветра. Это было похоже на медленное, ленивое движение гигантской мышцы под тонкой кожей воды. Я прислонился лбом к холодному стеклу, пытаясь разглядеть, и мне показалось, что черная гладь расступилась на мгновение, и в глубине мелькнуло что-то бледное, бесформенное и огромное, повернувшееся в мою сторону. Я отшатнулся, сердце заколотилось где-то в горле, сжимая его в тиски.

Время остановилось. И река проснулась.

Студия встретила меня запахом скипидара, свежей краски и... страха. Да, именно так. Страх имел свой запах – острый, металлический, как привкус крови на губах после удара. Я включил свет, и желтоватый свет лампы выхватил из полумрака лица моих картин. Они смотрели на меня. Все эти фигуры у воды, эти тени, эти застывшие в вечном ожидании позы.

Я почти бежал сюда, подальше от застывшего времени в спальне, но здесь стало еще хуже. Здесь все дышало тем же ожиданием. Я поставил телефон на штатив, руки дрожали, и

я долго не мог ровно выставить аппарат. Мне нужно было зафиксировать реальность. Потому что после ночного кошмара, после застывших стрелок я больше не мог доверять своим глазам. Собственному разуму. Мне нужны были доказательства. Материальные, осязаемые. Пиксели на экране, которые нельзя оспорить.

Первый снимок щелкнул с тихим, деловитым звуком. Вспышка ослепила на мгновение, и в красных кругах перед глазами мне померещилось, как тени на полотне дёрнулись, уходя глубже в углы. Я протер глаза. Полотно с двумя фигурами у реки. Руки, соединенные в замок. Все как вчера. Точно, как вчера. Я выдохнул с облегчением, которое было таким острым, что аж заболели зубы. Просто сон. Просто нервное истощение. Наваждение.

Второй снимок. Я сделал его через десять минут, как и планировал. Подошел ближе, взгляделся в экран. И кровь медленно, ледяной струей, начала стекать от лица куда-то вниз, оставляя внутри пустоту и звон. То же полотно. Но тени за спинами фигур стали глубже, гуще, плотнее. Они не просто отбрасывались фигурами – они жили своей собственной, отдельной от света жизнью. Теперь они не просто защищали – они обвивались вокруг ног, словно черные, дымчатые щупальца, удерживая от шага, от падения в черную воду.

– Этого не может быть, – я прошептал это вслух, чтобы заглушить нарастающий гул в ушах. – Этого не может быть.

Третий снимок. Я делал его уже с почти животным ужасом, с отчаянием загнанного зверя. Я не хотел нажимать на кнопку. Боялся того, что увижу. Но какая-то сила, сильнее меня, заставила палец дрогнуть. Фигуры изменились. Их позы стали неестественными, напряженными, мышцы нарисованных рук и спин выступили буграми. Они больше не стояли – они боролись. С невидимой силой, что тянула их назад, в воду. А тени... тени превратились в сотни цепких, костлявых рук, с явными, слишком уж детализированными пальцами, впивающихся в одежду, в плоть, тянущих, тянущих безжалостно и неумолимо.

Я отшвырнул телефон, он ударился о пол, и пластик треснул с сухим, жалобным звуком. Мои собственные руки тряслись так, что я не мог их унять. Я схватился за волосы, сжал голову, пытаюсь вдавить обратно расползающиеся мысли. Это не могло быть правдой. Картины не меняются сами по себе. Краска не оживает. Это невозможно. Это противоречит всему. И все же... я видел это. Сначала своими глазами, а потом на экране. Доказательство было там, на полу, с паутиной трещин на стекле.

«Ты сходишь с ума, Лео, – прошипел я сам себе, зажимая рот ладонью, чтобы не закричать. – Ты окончательно и бесповоротно теряешь рассудок».

Но в голове, как эхо из глубокого колодца, всплыл голос матери, тихий, усталый, пропахший лекарствами и тоской: «У реки свои правила, сынок. То, что невозможно на берегу, становится единственной правдой в воде. Не пытайся спорить с течением. Ты утонешь».

Кира появилась в дверях, когда я, обессиленный, сидел на полу, прислонившись спиной к холодной стене, и пытался заставить себя дышать ровно. Она была как глоток чистого воздуха в этом затхлом, пропитанном ужасом помещении. В руках она несла два стакана с чаем, пар от которых поднимался ровными, спокойными струйками. Но ее глаза, большие, бездонные, с мерцающими в них «точками», были прикованы не ко мне, а к полотну. Она замерла на пороге, и я увидел, как по ее лицу пробежала тень. Не удивления. Признания.

– Они снова изменились, – констатировала она, ее голос был ровным, слишком спокойным для происходящего. Она поставила стаканы на краешек стола, будто боялась расплескать, и сделала шаг к картине.

– Ты... ты тоже это видишь? – выдохнул я, чувствуя, как сердце, замершее было, снова начинает колотиться где-то в горле, сдавливая его. Я вскочил, жадно впиваясь в ее лицо, ища подтверждения, что я не один, что я не сумасшедший.

– Конечно, вижу, – она не отводила взгляда от холста, ее пальцы медленно провели по воздуху в сантиметре от краски, словно ощущая исходящее от нее тепло или холод. – Они всегда меняются. Ты просто раньше не замечал. Не хотел замечать.

– Почему? Как? – я схватил треснутый телефон с пола, с трудом включил его, листая снимки. – Я фотографировал. Смотри. Вот первый, вот через десять минут, вот еще через десять! Это же... это же безумие!

Кира взяла телефон из моих дрожащих рук. Ее пальцы были холодными, когда они ненадолго коснулись моих. Она молча листала изображения, одно за другим, и с каждым новым кадром ее лицо становилось все серьезнее, суровее. Легкая беззаботность, с которой она обычно держалась, испарилась, обнажив что-то древнее и напряженное.

– Это плохо, – наконец прошептала она, и в ее шепоте я услышал отголосок того же ужаса, что сжигал меня изнутри. – Раньше они менялись за ночь. Пока мы спали. Пока мы не видели. Теперь – за часы. За минуты.

– Что это значит, Кира? – спросил я, хотя часть меня уже знала ответ. Знала его с того момента, как проснулся и увидел застывшие стрелки.

– Это значит, что река торопится, – Кира посмотрела на меня, и в ее глазах, в этих бездонных озерах с плавающими звездами, читался чистый, недетский страх. – Она чувствует что-то. Она хочет, чтобы мы закончили историю. Чтобы мы сделали то, для чего пришли. И ушли. Или... остались. Навсегда.

Я сел за мольберт, потому что не мог больше просто сидеть и ждать. Нужно было действовать. Нужно было что-то делать. Я взял кисть. Деревянная рукоять была знакомой, уютной, единственной точкой опоры в рушащемся мире.

И эйфория пришла сразу. Волной, смывающей все страхи, все сомнения. Сладкий, пьянящий наркотик творчества затопил меня, и я вздохнул с облегчением. Вот оно. Вот мое спасение. Мой якорь.

Но сегодня что-то было иначе. Обычно я чувствовал себя рулевым этого корабля, я выбирал курс, я смешивал краски. Сейчас же рука двигалась сама по себе, словно кто-то другой, более сильный, более знающий, держал кисть и вел ее по холсту. Я пытался остановиться, сделать паузу, отдышаться – но не мог. Мои мускулы не слушались. Я был марионеткой. Инструментом. Пером, которым водила невидимая рука.

Краски смешивались на палитре, создавая оттенки, которых я никогда не видел в природе. Синий, глубокий как сама бездна, с искрами холодного, мертвенного серебра. Черный, но не плоский, а объемный, живой, с проблесками глубинного золота, как чешуя у огромной рыбы. Зеленый, цвет болотных огоньков, манящий и ядовитый. Река на холсте оживала. Она не была просто изображением воды. Она была водой. Она была глубиной. Она дышала. И она смотрела на меня.

И тогда я почувствовал. Не боль. Не страх. Не эйфорию.

Голод.

Глубокий, всепоглощающий, древний голод. Он жил где-то в самом основании моего желудка, в глубине костей. Он пульсировал, рос с каждым движением кисти, с каждым мазком, в такт с «точками» в глазах. Это был не голод к пище. Это была жажда чего-то иного. Целостности? Забвения? Принадлежности? Я чувствовал, как что-то внутри меня рвется на части, и эту пустоту нужно срочно заполнить. Залить этими красками. Этой водой. Отдать себя всего, без остатка.

– Лео, – голос Киры доносился издалека, будто через толщу воды. – Лео, остановись. Слышишь меня? Остановись сейчас же!

Но я не мог. Я был зажат между небесной эйфорией и ледящим душу ужасом. С одной стороны – блаженное облегчение, как будто я наконец-то нашел то, что искал всю жизнь. Возвращение домой. С другой – острое, пронзительное осознание того, что этот «дом» меня погло-

тит, растворит, сотрет без следа. Что я перестану быть Лео. Стану просто... частью. Частью этого места, этой реки, этой вечной, ненасытной тени.

Кира схватила меня за запястье. Ее пальцы впились в мою кожу с такой силой, что болью отозвалась даже в оглушенном сознании. Кисть выпала из моих пальцев, упала на пол, оставив на половине кроваво-алый мазок.

Я задышал, как после марафона, сердце колотилось, выпрыгивая из груди. Я посмотрел на холст.

Теперь там были не две абстрактные фигуры у реки.

Там были мы.

Наши лица, выписанные с фотографической точностью, – мое, искаженное мукой творчества и ужасом, и ее, сосредоточенное и испуганное. Наши тела, наши позы. Наши души, вывернутые наизнанку и выставленные на всеобщее обозрение. И за нашими спинами – тени. Но теперь это были не щупальца, не руки, тянущиеся из воды. Это были крылья. Теневые, расплывчатые, но огромные. Они не тянулись, чтобы забрать нас. Они раскрывались, чтобы защитить. Чтобы укрыть от чего-то, что было впереди, за пределами холста.

– Ты почти ушел, – Кира все еще держала мою руку, ее пальцы были ледяными, но ее пульс – бешеным, и он отдавался в моем запястье, сливаясь с моим в один сумасшедший ритм. – Еще немного, еще один мазок, и ты бы переступил грань. Стал бы частью картины. Навсегда.

– Я чувствовал голод, – прошептал я, смотря на свои дрожащие, испачканные краской руки. Они казались мне чужими. – Такой сильный... Как будто я не ел годами. Веками.

– Это не голод тела, Лео, – Кира взяла меня за подбородок, мягко, но настойчиво заставляя посмотреть ей в глаза. Ее «точки» мерцали тревожно и часто. – Это голод реки. Она питается нами. Нашими чувствами. Нашими страхами. Нашим искусством. Это симбиоз. Или паразитизм. Я еще не поняла.

Мы сидели на полу в студии, прислонившись спиной к прохладной стене, и молча смотрели, как солнечный свет медленно перемещается по комнате, удлинняя тени. Пахло краской, чаем и страхом – густым, не рассеивающимся. Я смотрел на узор на своем запястье. За последние часы он стал сложнее, из простого переплетения линий превратившись в детализированную, почти картографическую схему – миниатюрную реку с притоками, заводами, островками. Она пульсировала в такт сердцебиению. Кира молча показала мне свое запястье. Узор был таким же, но в зеркальном отражении, будто это были два берега одной и той же реки.

– Моя бабушка, она родом из здешних мест, – тихо заговорила Кира, разрывая давящее молчание. – Она рассказывала мне сказки. Не совсем сказки. Предупреждения. О водяных Дона. Не таких, как в книжках – не усатых и злых, с гармошкой. Нет. Она говорила о них как о тех, кто... выбрал реку вместо берега. Добровольно или нет – она не уточняла.

– Что ты имеешь в виду? – спросил я, и мой голос прозвучал хрипло.

– Она говорила, что некоторые люди рождаются с пустотой внутри. С голодом, который не может утолить ничто земное – ни еда, ни любовь, ни слава, – Кира провела пальцем по своему узору, и мне показалось, что линии на миг вспыхнули тусклым синим светом. – Они всегда ищут что-то большее. И река их находит. Она дает им силу. Талант. Вдохновение. Остроту чувств, которую другие не могут даже представить. Но взамен... она забирает. По кусочку. Кусочки души. Внимания. Памяти.

– И мы... мы из таких? – спросил я, глядя на наши соединенные руки, на зеркальные узоры-реки.

– Да, – Кира кивнула, и в ее глазах читалась не детская усталость. – Мы из таких. И теперь нам предстоит решить: позволим ли мы реке забрать нас полностью, уйти в нее с головой, или найдем в себе силы остаться на берегу. Но остаться, помня о голоде. Всегда помня.

Вечером я отправился на поиски ответов. Вилла была огромной, и в ее глубинах таилось множество забытых комнат. Я нашел библиотеку случайно, отворив тяжелую, покрытую

пылью дверь с резной ручкой в виде змеиной головы. Воздух внутри был густым и сладким – пахло пылью, трухой старых книг и все тем же непременным запахом ила, который, казалось, пронизывал здесь все.

На самой дальней полке, в углу, я нашел ее. Толстый фолиант в потрепанном кожаном переплете, без каких-либо опознавательных знаков на корешке. Я потянул его к себе, и с полки с тихим шелестом посыпалась пыль. На обложке, вытисненной потускневшим золотом, было написано: «Легенды Дона: от берега до глубины».

Я открыл книгу. Бумага была пожелтевшей, хрупкой, шершавой на ощупь. Текст был набран убогим, старомодным шрифтом, а на полях чьей-то старательной рукой были выведены чернилами заметки и рисунки – те самые вязкие узоры, что были теперь на моей коже. Я начал читать, и с каждой строчкой мороз по коже становился все сильнее.

Страницы рассказывали не о жертвах, не о несчастных утопленниках. Они говорили о добровольцах. О тех, кто сознательно, по зову крови или по великой нужде, приносил себя в жертву реке, чтобы защитить тех, кто оставался на берегу – свою семью, свою деревню, свою любовь. Они уходили в воду и становились стражами, хранителями памяти реки, барьером между миром живых и тем, что таится в глубине. Но книга не скрывала правды: со временем даже самая сильная воля ослабевает. Голод – тот самый, что чувствовал я, – брал верх. Стражи забывали, кто они такие, зачем пришли. Оставалась только пустота, которую нужно было заполнять. И вечный, ненасытный голод. Голод, который передается по крови. От поколения к поколению. От художника к художнику. От сердца к сердцу.

«Жертва реке – не конец, а начало нового пути, – гласила книга. – Те, кто ушел, продолжают жить в воде, наблюдая за берегом сквозь толщу лет и забвения. Но память их тает, как следы на мокром песке, и остается лишь смутное томление, голод. И этот голод ищет выхода. Ищет новых голодных душ».

Я посмотрел на свою руку. Узор стал еще четче, еще сложнее. Казалось, будто сама река, живая и мыслящая, выводила на мне свою карту, свою историю, свой приговор.

Ночью я снова погрузился в воду. Это уже не было неожиданностью. Это было ожиданием. Я вошел в черную, маслянистую воду Дона, и она приняла меня как своего – без сопротивления, без холода. Она была теплой, как кровь.

Но на этот раз я не был один. Рядом со мной, ее пальцы сплелись с моими, была Кира. Ее серебристые волосы плавали вокруг головы нимбом, а «точки» в глазах светились мягким, успокаивающим светом, рассеивая мрак. Тени, те самые безликие, темные сущности, окружили нас плотным кольцом. Они не нападали. Они не тянули нас на дно. Они просто наблюдали. Множество глаз из густой тьмы.

– Ты видишь? – голос Киры звучал у меня в голове, четкий и ясный, без искажений, будто мы разговаривали на берегу. В воде это было похоже на мысленное общение. – Они ждут. Они всегда ждут.

– Чего? – мысленно спросил я, чувствуя, как вода заполняет мои легкие, но не принося дискомфорта. Дышать водой было так же естественно, как воздухом. – Чего они ждут?

– Чтобы мы выбрали, – она повернула ко мне лицо, и ее взгляд был полон той же древней печали, что и в рассказах ее бабушки. – Сделали шаг. Остаться здесь, с ними, в глубине. Или... вернуться. На берег. Отказаться.

– Я не хочу уходить, – признался я, и это была правда. Здесь, в этой тихой, темной глубине, не было боли. Не было страха одиночества. Не было вопросов. Был только покой. И голод. Но голод здесь казался... правильным. – Но я и не хочу оставаться. Я боюсь.

– Ты не один, – ее пальцы сжали мою руку крепче. Ее уверенность была живым канатом, связывающим меня с реальностью. – Помни это, Лео. Что бы ни случилось. Ты не один. Твой голод – и мой голод. Твоя пустота – это и моя пустота. Мы несем их вместе.

Я проснулся с криком на губах. На этот раз звук вырвался наружу, грубым, рваным ревом, разорвав тишину комнаты. Грудь ходуном ходила, тело было покрыто липким, холодным потом. В комнате было светло – первые лучи рассвета пробивались сквозь щели ставней. Я подбежал к окну, распахнул его.

Дон лежал внизу, спокойный и величественный. Вода все так же манила, звала, обещала покой. Но теперь я знал – я не один. И это знание было и кнутом, и пряником. Страхом и надеждой.

Я нашел Киру в саду, у старого, заросшего ряской пруда, который казался слепком с самой реки. Она сидела на корточках на самом краю каменной плиты и что-то быстро и уверенно рисовала в своем блокноте, ее пальцы летали над бумагой.

– Ты тоже видел сон, – сказала она, не оборачиваясь, будто чувствовала мое присутствие спиной.

– Да, – я подошел и сел рядом на прохладный камень. – Они ждут. Смотрят. Давят. Пока мы не выберем.

– Или пока река не выберет за нас, – Кира захлопнула блокнот и повернулась ко мне. Ее лицо было серьезным. – Я читала не только бабушкины сказки, Лео. Я изучала местные легенды, пока ты писал свои картины. Те, кто уходил... они не были просто жертвами. Они были добровольцами. Стражами. Но книга права – голод стирает все. Он съедает память. И тогда страж превращается просто в еще один голодный рот. В часть реки, которая вечно хочет есть.

– И что нам делать? – спросил я, глядя на ее профиль, на сосредоточенные губы, на мигающие «точки» в глазах. – Как бороться с этим? Как не забыть?

– Продолжать рисовать, – она улыбнулась горьковатой улыбкой. – Творить. Кормить ее. Но делать это осознанно. Помнить, кто мы. Помнить свои имена. Помнить друг о друге. Мы – якоря друг для друга. Не дадим друг другу уплыть.

– А если голод станет сильнее? – спросил я, уже чувствуя, как он шевелится у меня внутри, скулящее, тоскующее щенком существо. – Сильнее нас обоих?

– Тогда мы поделим его, – Кира положила свою ладонь поверх моей. Ее кожа была прохладной, а узор на запястье идеально совпал с моим. – Мы будем кормить его вместе. По чуть-чуть. Не отдадим себя всего. Помнишь, что я сказала в воде? Твой голод... он и мой. Не дай ему нас разлучить. Потому что, если мы будем по отдельности, он съест нас поодиночке. А вместе... вместе у нас есть шанс.

Вернувшись в студию, я снова взял в руки кисть. Она лежала на полу, где упала, и мне казалось, что она смотрела на меня, упрекая за брошенность.

Эйфория пришла снова. Сладкий зов. Но теперь я знал его цену. Я видел крючок за приманкой. Я посмотрел на холст – фигуры изменились за ночь. Теперь мы с Кирой на картине держались за руки так крепко, что наши силуэты начали сливаться в одно целое. Мы были двумя отдельными существами, но нас связывала одна воля, одно намерение – не сдаваться.

Я начал рисовать. На этот раз я не позволил голоду, этой темной реке внутри, взять верх. Я вцепился в сознание, как в спасательный круг. Я думал о матери. О ее глазах, полных тайн и страха. О ее словах о близнецах душ, разбросанных по миру. Я думал о Кире. О ее руке в моей. О ее голосе в темноте. Я думал о берегу – о шершавости песка под босыми ногами, о тепле солнца на коже, о вкусе обычного хлеба. О реальности.

Кисть двигалась медленнее, тяжелее. Каждый мазок давался с трудом, будто я толкал перед собой огромный валун. Голод внутри бушевал, рычал, требовал, чтобы я отпустил тормоза, отдался течению, чтобы я отдал себя полностью. Он сулил блаженство, конец борьбе. Но я сопротивлялся. Я сжимал зубы и вспоминал берег.

И тогда я услышал.

Не царапанье когтей по стеклу.

Не шепот из углов.
Музыку.

Тихую, монотонную, механическую. Метроном. Четкое, неумолимое, железное «тик-так. тик-так. тик-так». Оно звучало не в ушах, а прямо в мозгу. И оно било в унисон с пульсацией «точек» в моих глазах. С каждым «тик» точки вспыхивали, с каждым «так» – гасли. Это был отсчет. Обратный отсчет.

Я посмотрел на Киру. Она сидела в углу на подоконнике, уткнувшись в свой блокнот, и быстро что-то зарисовывала. Ее правая нога слегка покачивалась в такт. В такт тому метроному, который слышал только я.

– Ты слышишь? – голос мой сорвался на шепот.

Она подняла голову, оторвавшись от рисования. – Что?

– Метроном, – я ткнул пальцем в свой висок, потом в глаза. – Он здесь. И здесь. Он пульсирует в такт с «точками». Раз-два. Тик-так. Слышишь?

Кира замерла. Блокнот выскользнул из ее ослабевших пальцев и с мягким стуком упал на пол. Я увидел, как ее лицо медленно, постепенно становится мертвенно-бледным. Как в ее широких глазах отражается мой собственный, дикий ужас.

– Это... это плохо, Лео, – прошептала она, и ее губы едва двигались. – Это значит, что река... что она начинает считать наше время. Она дает нам срок. До того момента, когда мы должны будем сделать окончательный выбор. Или он будет сделан за нас.

Вечером я снова ушел в библиотеку. Книга «Легенды Дона» лежала на столе, раскрытая на той же странице. Но теперь я видел ее по-новому. Я нашел главу, которую раньше упустил. Главу о «спаренных душах» или «парных сердцах» – о тех, кто рождался не по одиночке, а парами, связанными незримой нитью. Одним голодом. Одной пустотой. Одной судьбой.

«Спаренные души сильнее одиночных стражей, – гласил текст. – Они могут противостоять всепоглощающему голоду глубины, ибо, деля его бремя меж собой. Они – две чаши весов, способные удержать равновесие меж берегом и пучиной. Но если одна душа дрогнет и уйдет слишком глубоко, вторая последует за ней неизбежно, ибо не может существовать в разрыве. Посему спаренным душам надлежит помнить: связь их – не цепь, влекущая на дно, а мост. Хрупкий, дрожащий мост меж двумя мирами – миром твердой земли и миром вечной воды».

Я закрыл книгу. Стук ее толстой обложки прозвучал как похоронный колокол. Я прислушался. Да. Он был все так же слышен. Тик-так. Тик-так. Мое сердце пыталось подстроиться под его железный ритм. Мы с Кирой были теми самыми спаренными душами. Мостом. Но как долго мы сможем удерживать равновесие, если опоры с двух сторон рушатся прямо у нас на глазах?

Ночью я не спал. Сидел у открытого окна, завернувшись в плед, и смотрел на Дон. Вода манила, звала, пела свою тихую, гипнотическую песню. Но теперь я слышал в ней и другой звук – ровный, неумолимый стук метронома, вплетенный в шелест волн.

Я посмотрел на свое запястье. Узор-река стала еще сложнее, еще детальней. Теперь на ней можно было разглядеть крошечные завихрения, омуты и даже какой-то город на одном из «берегов» – миниатюрное отражение Ростова.

«Ты почти дома», – прошепел голос. Он был не снаружи. Он прозвучал у меня внутри, холодной, скользкой мыслью.

Я обернулся. В комнате было пусто. Только старинная икона в темном углу, доставшаяся вилле от прежних хозяев, смотрела на меня своими строгими, потемневшими от времени глазами. Мне показалось, что они светятся тусклым, зеленоватым светом, как гнилушки в лесу.

– Я не хочу домой, – прошептал я в пустоту, сжимая плед. – Я хочу остаться здесь. На земле. На берегу.

«Здесь и есть дом, – прошепел внутренний голос, и он звучал как мой собственный, только усталый и старый. – Самый первый и единственный. Возвращение неизбежно».

Я закрыл глаза, пытаюсь заглушить его, и вдруг ясно, как наяву, вспомнил мать. Не молодую и цветущую, а ту, что лежала в больничной палате, вся иссохшая, прозрачная, с синими прожилками на висках. Ее пальцы, холодные и цепкие, впивались в мою рубашку.

– Они зовут тебя, – шептала она, и ее глаза, огромные от страха, были полны слез. – Я слышу их. Из воды. Они шепчут твоё имя. Они знают, что ты их кровь. Их плоть. Они ждали.

– Мам, это просто река, это просто вода, – пытался я успокоить ее, самого быющего в истерике внутри. – Это твои лекарства. Успокойся.

– Не просто река! – она сжала мою руку с неожиданной, почти нечеловеческой силой. Ее взгляд стал остекленевшим, уходящим в себя. – Вода... вода помнит все, Лео. Все, что в нее когда-либо бросили. Все, что в ней утонуло. Все тайны, все страхи, все грехи, все тела, все, что хотели забыть. И она никогда не прощает забвения. Никогда.

Тогда, в больнице, я списал все на бред умирающей, на жар, на боль. Сейчас, сидя у окна и слушая тиканье метронома в своей голове, я понял – она говорила чистую правду. Самую последнюю и самую важную в своей жизни.

Утром я нашел Киру в библиотеке. Она сидела за тем же столом, окруженная грудой старых книг, фолиантов и потрепанных тетрадей. Ее пальцы быстро бегали по пожелтевшим страницам, выискивая что-то.

– Я нашла кое-что, – сказала она, не поднимая головы. Ее голос был хриплым от усталости. – О спаренных душах. Не просто упоминание. Целый трактат.

Я молча сел рядом. Она отодвинула ко мне толстую, потертую книгу, раскрытую на определенной странице. Там был рисунок, выведенный пером с удивительным мастерством. Две фигуры, мужская и женская, стояли спиной к черной, бушующей воде. Они были изображены в профиль, их руки были крепко сплетены, пальцы сцепились в единый, неразрывный замок. А за их спинами... не было теней. Вместо них стояли другие, более прозрачные, размытые фигуры. Они не тянулись к живым. Они образовывали живой барьер, стену между ними и пучиной, их руки были подняты, словно для защиты или благословения.

– Это... мы, – прошептал я, с трудом выговаривая слова.

– Не просто мы, – Кира провела пальцем по рисунку, и мне показалось, что изображенные фигуры дрогнули. – Все спаренные души. Все, кто пришел до нас. Все, кто выбрал быть мостом. Они... они становятся частью этого. Частью защиты для следующих. Цепочки.

– И что с ними случилось? – спросил я, глядя на решительные, печальные лица на рисунке. – Теми, кто был до нас?

– Некоторые остались на берегу, – Кира перевернула страницу. Там был текст, густо испещренный пометками. – Прожили долгую жизнь. Но голод никогда не отпускал их до конца. Они творили, кормили реку, но удерживали равновесие. Другие... другие ушли в воду. Добровольно. Когда их время пришло. Но они не исчезли. Они стали частью реки. Ее памятью. Ее голосом. Ее... голодом. Они – те самые стражи, что не дают реке выйти из берегов. Но и зовут к себе новых.

– И мы... мы станем такими же? – спросил я, чувствуя, как знакомое ненасытное чувство внутри поднимает голову, почуяв тему разговора.

– Только если позволим, – Кира посмотрела мне прямо в глаза, и в ее взгляде была сталь. – Только если забудем, кто мы, и перестанем держаться друг за друга. Помни, Лео: твой голод – это и мой голод. Но он не должен нас поглотить. Мы должны поглотить его. Переварить. Превратить в силу. В искусство. В мост. А не в пропасть.

Вечером мы снова стояли в студии перед роковым полотном. Оно изменилось снова. Теперь фигуры на нем – мы – держались за руки так крепко, что наши силуэты начали сливаться в единое целое, образуя арку, ворота, тот самый мост из легенды. А тени за нашими спинами, те самые защитники, стали еще четче, прорисованнее. И теперь в их чертах, в размытых контурах, можно было угадать лица. Множество лиц. Мужские и женские, молодые и

старые. Все они смотрели на нас. Не осуждающе. С надеждой. С бесконечной усталостью и – ожиданием.

– Это они, – прошептала Кира, и ее палец дрожал, когда она указывала на лица в тенях. – Спаренные души. Те, кто пришел до нас. Все, кто держал этот мост.

– Они смотрят на нас, – я почувствовал, как сжимается горло от нахлынувших чувств – благоговения, ужаса, ответственности. – Как будто ждут. Передают эстафету.

– Возможно, они ждут, чтобы мы сделали свой выбор, – Кира взяла мою руку. Ее ладонь была влажной. – Остаться на берегу и держаться. Или уйти в воду и сменить их на посту.

– А если... если мы выберем неправильно? – выдохнул я.

– Тогда мы выберем это вместе, – она повернулась ко мне и улыбнулась своей странной, печальной улыбкой, в которой была вся мудрость ее бабушкиных сказок. – Помнишь? Твой голод – мой голод. Твоя судьба – моя судьба. Наш выбор будет нашим общим выбором. И в этом наша сила. Наша единственная защита.

Ночью я снова вошел в воду. Это был уже сознательный шаг. Вызов. Я не позволил страху парализовать себя. Я крепко, до боли, держал Киру за руку, чувствуя, как ее узор пульсирует в унисон с моим.

Тени окружили нас сразу, как в прошлый раз. Они вились вокруг, безликие и молчаливые, создавая кольцо из тьмы.

– Ты видишь? – спросила Кира, и ее мысленный голос был спокоен и тверд. Она смотрела не на меня, а на тени. – Они не нападают. Они наблюдают. Они проверяют нас.

– Почему? – мысленно передал я.

– Потому что мы не боимся, – ее пальцы сжали мои еще крепче. – Вернее, боимся. Но мы делаем вид, что не боимся. И мы вместе. Наш страх, поделенный надвое, уже не абсолют. Наша уверенность, умноженная на два, становится силой.

И тогда произошло невероятное. Тени начали отступать. Не рассеиваться, нет. Они медленно, нехотя, отплывали назад, вглубь, становясь прозрачнее, бледнее, пока не растворились в темной воде полностью, словно их и не было. И вода вокруг нас изменилась. Она стала светлее, прозрачнее. Мутная, черная взвесь ила куда-то осела. И впервые за все время я увидел дно. Не илистое, не усеянное костями. Песчаное, чистое. И оно поднималось вверх. Оно формировало пологий склон. Берег. Подводный, но настоящий. Путь к выходу. К спасению.

Я проснулся. Не с криком, не с рывком. Я просто открыл глаза. На губах у меня застыла улыбка – слабая, недоумевающая, но самая настоящая за все это время. В комнате было светло – рассветало. Я подошел к окну. Дон все так же катил свои темные воды, манил, звал. Но теперь я знал – я не один. И я знал, что берег существует. Не только тот, что снаружи, из камня и песка. Но и тот, что внутри. Тот, что мы можем построить сами. Где-то под водой. Где-то внутри нас.

Я взял свой треснутый телефон, смахнул пыль с экрана и открыл галерею. Серия снимков полотна показывала не нарастание ужаса, а... обратный процесс. Как тени отступают. Как фигуры на холсте становятся четче, ярче, увереннее. Как они удерживаются на своем берегу. Как их руки не размыкаются.

– Мы можем, – прошептал я, и впервые эти слова не звучали как молитва или отчаяние. Они звучали как констатация факта. Как клятва. – Мы можем остаться. Мы можем выбрать.

И где-то в глубине старой виллы, в самом ее сердце, громко, с визгом железа по железу, заскрипела дверь. Маргарита знала. Чувствовала сдвиг в равновесии. Река знала. Игра продолжалась. Но правила в ней менялись.

Теперь у меня был союзник. Не просто попутчик по несчастью. Вторая половина моста. Вторая чаша весов. И впервые за долгое, мучительное время я почувствовал не просто отсрочку, а настоящую, зыбкую, хрупкую надежду. Потому что голод – он никуда не делся. Он будет всегда. Но теперь я знал – голод можно разделить. Голод можно обмануть. Голод можно

превратить в краски на холсте и в силу в жилах. И, может быть, именно голод, этот вечный двигатель, и есть тот мост, который не даст нам упасть.

Глава 6: Лабиринт Памяти: Дневник и Часы

Проснулся я не от звука, не от света, а от его полного отсутствия. От ощущения, что время не просто остановилось – оно вытекло, как песок из разбитых часов, оставив после себя вакуум, густой и тягучий, как донской туман над водой. Я лежал, уставившись в потолок с узором из трещин, которые за ночь сложились в знакомые, до тошноты знакомые очертания – изгиб реки, тот самый, что виднелся из моего окна. Воздух был неподвижным и спертым, пахшим пылью, старой бумагой и чем-то еще, сладковатым и гниlostным, будто забытые в вазе цветы, которые уже начали разлагаться, но цеплялись за призрачную память о жизни.

Я повернул голову к прикроватному столику. Часы, конечно же, показывали 3:33. Это время, ставшее для меня зловещим метрономом, вновь пригвозждало к застывшему моменту между вдохом и выдохом. Не просто остановка механизма, а сама суть времени, его иллюзорность, давила на меня с новой силой. Пробыл ли я здесь час, день, неделю? Разницы не было никакой. Плотные, бархатные шторы не пропускали ни лучика, лишь намекая на существование мира снаружи смутным серым свечением. В этом коконе из тишины и полумрака единственным доказательством того, что я все еще жив, что время для меня все же течет, был узор на моем запястье.

Я поднял руку перед лицом. Замысловатые, тонкие, как паутина, линии, проступившие под кожей, казалось, стали еще глубже, еще сложнее. Раньше это был просто хаотичный клубок, теперь же я ясно различал карту – миниатюрную, пугающе точную копию Дона с его многочисленными притоками, заводами и излучинами. Она пульсировала едва заметно, в такт тому самому звуку, что уже который день преследовал меня.

Метроном.

Тик-так. Тик-так.

Он был сейчас тише, чем вечером, не врвался в сознание, а струился где-то на границе слуха, в самой глубине черепа. Ровный, механический, неумолимый. Он отсчитывал не секунды, а что-то иное. Что-то мое.

Вчера, перед тем как погрузиться в беспокойный, прерывистый сон, я дал себе слово. Сегодня. Сегодня я найду его. Источник. Положу конец этому безумию. Но сейчас, лежа в неподвижном воздухе, я понимал, что это не просто звук. Это был пульс самого дома. Или реки. Или чего-то, что пряталось в нас самих.

С трудом оторвавшись от кровати, я почувствовал, как холодный пол обжигает леденит босые ступни. Я подошел к окну, отдернул тяжелую ткань. Туман был таким густым, что мира за стеклом словно и не существовало. Только молочно-белая, колеблющаяся стена, и сквозь нее – смутный, размытый образ могучей реки, темной и безмолвной. Она ждала. Я это чувствовал кожей. Она всегда ждала.

Мой блокнот лежал на столе раскрытым на чистой странице. Рядом – несколько карандашей, точилка, ластик в виде сплюснутого причудливой волной куска резины. Сегодня я не буду просто бродить бесцельно. Сегодня я составлю карту. Найду логику в этом безумии. Потому что даже самый безумный хаос, если взглянуть, имеет свою структуру. Свой узор. Свой ритм. Особенно если ты уже стал его частью.

Первый этаж виллы при дневном свете (вернее, при том унылом, сером свечении, что пробивалось сквозь туман и пыльные окна) казался обманчиво простым и логичным. Я начал скрупулезно зарисовывать план, водя карандашом по бумаге с сосредоточенностью картографа, открывающего новые земли.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.